

Любовь Турбина

**РАЗНОСЧИК ТЕЛЕГРАММ**

*Сборник прозы*



---

Москва  
2015

УДК 82-4  
ББК 84(2Рос=Рус)6,44  
Т 86

*Книга издана при поддержке Союза российских писателей,  
на грант Министерства культуры РФ*

**Турбина Л.Н.**

**Т 86** Разносчик телеграмм : Сборник прозы / Любовь Турбина. – М.: ИПО «У Никитских ворот», 2015. – 204 с.

**ISBN 978-5-00095-076-0**

Предлагаемая на суд читателя книга известной поэтессы Любви Турбиной – это эссе, ярко и сжато описывающие отдельные картинки недавнего прошлого. Автор разглядывает его через «цветные стеклышки» памяти, рассказывая об очень простых вещах: детстве, отрочестве, юности, о молодых родителях, о памятных местах Ленинграда, Минска, Москвы, создавая атмосферу самооценности жизни как таковой.

Книга рассчитана на широкий круг читателей: это и ровесники автора, и читатели среднего возраста, которым будет интересно сравнить эти рассказы с тем, что они слышали дома. А более молодых читателей заинтересуют зарисовки из детства автора, пришедшегося на 50-е годы XX века, чтобы сравнить со своим, ещё совсем недавним.

Подкупает та доверительная интонация, с которой автор ведёт неспешный разговор с читателем как с близким другом, рассчитывая на понимание, иногда не щадя себя прежнюю. Особенно проявляется это в рассказах о юности, о первых любовных переживаниях, о сложностях притирки характеров и неумении разрешить противоречия в самом начале семейной жизни.

Для автора важна точность в деталях – это бесспорно присутствует в предлагаемой книге. Важным представляется и умение автора – известного поэта, но практически дебютанта в прозе – минимальными средствами создавать яркие словесные портреты людей, оказавших влияние на разных этапах жизни.

Не просто память, но благодарная память – одно из важных достоинств предлагаемой читателю рукописи прозы Любви Турбиной.

**ISBN 978-5-00095-076-0**

УДК 82-4  
ББК 84(2Рос=Рус)6,44

© Турбина Л.Н., 2015

© Оформление.

ИПО «У Никитских ворот», 2015

## *Ашхабад – две встречи*

В мой родной город Ашхабад, после того как меня увезли оттуда восьмимесячной, удалось попасть снова только почти через четыре десятилетия. Я работала тогда в Институте генетики АН БССР старшим научным сотрудником, хотя к этому времени окончила Литературный институт и была автором тоненькой книжечки стихов «Улица детства». Мне удалось упротить дирекцию, чтобы меня взяли на конференцию в Ашхабадский институт биологии; не помню, успела ли сочинить какой-никакой доклад, но потрясала паспортом с записью «Место рождения – город Ашхабад».

Летела через Москву, был октябрь месяц, я надела в дорогу самый козырной на тот момент голубой плащ, и вдруг в Москве пошёл снег, мокрыми хлопьями, и мама дала мне свой пуховый платок, которым я обвязалась поверх плаща, и сапоги на платформе, то есть имела вид француза, бегущего из Москвы... В ту первую поездку больше всего запомнилась мне поездка за город через пустыню к подножью Копетдага, в пещеру с подземным озером.

В одном из рассказов Виктории Токаревой есть подробное художественное описание подобного путешествия, на этом фоне героев внезапно настигает любовь. Ту мою давнишнюю поездку в Ашхабад и к этому таинственному озеру тоже осеняло – нет, не любовь –

некое нежное чувство, не жаркое, не настойчивое, но без которого впечатления о ней были бы, наверное, менее яркими. Он приехал из Москвы, из Института генетики, звали его Витя Соколовский. Экскурсии располагают к сокращению расстояний между людьми; настроенные вполне легкомысленно мы оказались вдруг в пещере, где по влажным стенам под сводами висели гроздьями летучие мыши, а вырубленные в камне ступени вели к подземному озеру, откуда явно шибало в нос сероводородом: это напоминало сходжение в Аид.

Не помню, кто надоумил нас взять с собой купальники, но мы погрузились в тёплую воду и поплыли. Озеро это занимает несколько пещер, соединённых узкими рукавами, чтобы переплыть из одной в другую, надо было поднырнуть под свисающую перегородку. Чем глубже, тем всё темнее, всё труднее было дышать...И так захотелось поскорее на воздух, на свет...

Из той первой поездки запомнился ещё банкет, завершающий работу конференции – академик Николай Павлович Дубинин, знаменитый генетик, был тамадой: так же царственно дирижировал тостами на банкете, как до этого управлял докладами и сообщениями. Мне он сказал: «У вас необычный фенотип. Я бы не знал, к какой национальности вас отнести».

Несколько лет после той поездки получала я письма из Ашхабада от Антонины Петровны Бажановой, единственной русской сотрудницы туркменского института генетики; на словах письма были дружеские, преувеличенно-восторженные отзывы о моих стихах, но по сути тревожными – эти были немые крики о помощи, понятые мною только потом: немолодая женщина остро чувствовала надвигающуюся опасность... В стране и в республике постепенно менялся климат.

Да, самое главное – я познакомилась в ту поездку с туркменским поэтом Байрамом Жутдиевым: набралась наглости и явилась в Союз писателей со своей тоненькой книжечкой стихов «Улица детства», главным моим

козырем был по-прежнему паспорт со штампом «Место рождения – город Ашхабад». И Байрам не просто поговорил со мной, а по-настоящему взял шефство – на машине показал мне пустыню в октябре: было совсем не жарко и как-то серо, но внутри всё пело... Байрам поразил меня особой, тогда мне казалось – европейской интеллигентностью, теперь я бы сказала: утончённой, восточной культурой... И ещё – он перевёл мои стихи из подаренной ему тоненькой книжечки, перевёл их на туркменский и напечатал в газете, которую я вскоре, совершенно неожиданно для себя, получила от него уже в Минске. До сих пор это единственные переводы моих стихов на туркменский язык.

В следующий раз я побывала в Ашхабаде в 1989, на днях Махтумкули.

К этому времени я уже несколько лет работала – о, счастье! – в Институте литературы им. Янки Купалы АН БССР, где занималась связями белорусской литературы с туркменской, азербайджанской и узбекской литературами; как я туда попала – тоже целая история, случившаяся именно со мной, уроженкой славного города Ашхабада. Профессор Гринчик, на кафедре которого в Минском Институте культуры я подвизалась в качестве преподавателя-почасовика, однажды на кафедре сообщил, что в академическом Институте литературы ищут специалиста по восточным, а точнее – тюркоязычным литературам Советского Союза, и я, как в детстве, когда выскакивала танцевать всё равно что на призыв: «А кто умеет танцевать лезгинку?», выскочила и предложила свою кандидатуру на роль этого редкого по тем временам специалиста. Несравненный Николай Михайлович меня рекомендовал, а добрейший Виктор Антонович Коваленко, тогдашний директор Института, принял меня к себе на работу, в отдел взаимосвязей литератур, который возглавлял Алесь Адамович...

И вот я снова в Ашхабаде – майском, праздничном, ярком, наполненном людьми, приехавшими из дальних мест и близлежащих деревень. В Ашхабаде на тот мо-

мент не было ни одной достаточно вместительной гостиницы для гостей – прямо на главной улице, на проспекте им. Махтумкули стояли юрты и шатры, где жили приехавшие из мест ближних (дальних в гостиницу всё-таки поместили). И дворца, который бы вместил всех гостей, тоже пока не было: в городском парке соорудили помост, перед которым стояли рядами обычные садовые скамейки и сам будущий туркменбаши сидел на первом ряду, по проходу расхаживали несколько милиционеров, и всё происходило на редкость душевно и почти по-семейному. До этого я уже побывала на восточных приёмах: на днях М. Ф. Ахундова в Баку и на днях Ниязи в Ташкенте – там было гораздо больше помпы и казённости, пыли в глаза и роскошества... Туркмения была самой бедной из всех республик, её в Союзе ганадобили необходимостью сдавать огромное количество хлопка, в сёлах участились самосожжения молодых женщин.

В этот раз я уже официально приехала как литератор и поэт; меня курировал возглавлявший тогда Союз Писателей Туркмении прекрасный поэт Атамурад Атабаев, в дальнейшем мне довелось перевести с туркменского около листа его стихов. Его стихи переводил сам Юрий Кузнецов, свои выступления он начинал всегда многим известными строчками:

Пролетят журавли Хорасана  
Пролетят как ненастные дни...

В этот раз для группы гостей из разных республик состоялась экскурсионная поездка на родину Махтумкули, на юг, к границе с Ираном. Ехали частично на поезде, а потом уже на автобусе. Такие поездки очень способствуют сближению: мне довелось пообщаться во время неё с прекрасным прозаиком Тиркишем Джамагульдиевым, образный строй его мышления пронизывал каждую фразу нашей беседы, в дальнейшем это впечатление подтвердилось: роман «Потерянный», 1987 года издания, с тёплой дружеской надписью украшает ту полку моей библиотеки, где стоит современная проза.

Мне тоже довелось подняться на высокий помост, чтобы выступить перед высоким собранием, и я порадовалась, что на мне длинное туркменское национальное платье, которое напрочь скрывает ноги – из натурального крепдешина, красно-кирпичное, свободное, с вышивкой у ворота, предусмотрительно купленное днём на уникальнейшем ашхабадском базаре. Да, этот базар надо, конечно же, описать более подробно. Фактически я побывала тогда первый и единственный раз на настоящем старинном азиатском базаре. О том, что этот базар и есть главная ашхабадская достопримечательность, я узнала накануне в гостинице от Ильдрыма, бывшего турецкого эмигранта, а на тот момент успешного предпринимателя, гражданина Германии. Он приехал на этот праздник, как он мне рассказал, главным образом чтобы побывать на воскресном базаре: цель его была покупка уникальных старинных ковров по весьма умеренным на тот момент ценам. На базаре утром мы с ним там и встретились, только я стала глазеть на всё подряд, а он сразу очень деловито отправился за коврами.

Описать тот базар у меня не хватит ни слов, ни красок, к тому же прошло двадцать лет... Но я помню своё ощущение: я попала в пещеру Аладдина, где сокровища лежат на земле грудями. Да, прямо на земле, на площадке, огороженной хлипким забором, лежали груды поломанных серебряных украшений – оплечий, браслетов, серёг, брошек. Мне кажется теперь, там было не только чистое серебро, но также изделия из старинных сплавов, очень гладких, твёрдых и нержавеющей. Глаза разбегались: всё было очень недорого, но и денег же тогда было вовсе кот наплакал. Иногда так кажется, что если нельзя купить всё, лучше не разменивать на мелочи, от груд драгоценностей я отошла к продавцам одежды: там продавались те самые платья. Денег моих свободных хватило как раз на платье из карминного крепдешина, я тут же надела его поверх синтетического синего сарафанчика, в который я была одета; и сразу стало гораздо прохладнее, потому что уже с утра начало сильно припе-

кать, а платье национальное прежде всего защищает от солнца. До конца поездки я не снимала это волшебное платье, и выступала тоже в нём.

И вот я поднимаюсь на помост, срочно построенный в парке, и гляжу в лица тех, кто сидит внизу на скамейках, смотрит на меня с ожиданием, и внезапно понимаю: настал, быть может, один из самых ответственных моментов жизни. Мне надо поблагодарить этих людей за то, что тогда, в тяжелые годы войны, они приютили мою маму, а затем и меня на своей земле, в своём доме. Возможно, это звучит несколько высокопарно, но именно это я чувствовала, с высоты помоста вглядываясь в лица людей, пришедших на праздник. Мне кажется, что я смогла тогда найти те самые, проникновенные слова – и стихотворение прочитала:

Свинцовую тучей прошёл над страной  
Тот год, самый первый из прожитых мной:  
Волна эпидемий, и голод, и зной,  
Далёкого грома раскаты,  
Сердца в напряжении сжаты.

Нас выжило мало, рождённых тогда,  
По капле сочилась живая вода...  
А мама была ещё так молода,  
Свой хлебный паёк продавала,  
От смерти собой укрывала.

Но дни испытаний, години невзгод –  
Нам после как вехи возможных высот,  
Но манит азийский мерцающий свод  
Раскосым и угольным взглядом..  
Мне имя дано Ашхабадом.

И, кажется, я была тогда услышана. Вечером, на приёме Сапармурат Ниязов подошёл ко мне и сам стал расспрашивать о том, где и как моя мама жила в Ашхабаде. Чувствовалась, что ему это действительно интересно,



ведь мы с ним почти ровесники – дети войны. Так закончилась эта поездка на мою родину, каждое упоминание о которой заставляет с волнением биться сердце. И маме рассказала о том, как поблагодарила от её имени высокое собрание представителей Туркмении – моей родины.

Переводила стихи с туркменского ещё несколько лет, пока не прервалась прежняя, письменная связь, а новая, интернетная, как-то пока ещё не наладилась.

## АШХАБАД

...И новых людей из невиданных мест  
Узнали, хлеб-соли отведав.  
Неделя – сплошной сумасшедший отъезд,  
Прости, что я первая еду.

Обыденность – вот испытанье любви,  
Она не грозит нам – я рада,  
С рожденья бацилла метанья в крови  
Кочевницы из Ашхабада.

А может, пора возвращаться туда –  
К истокам, где время неспешно  
Струится, как в тихом арыке вода,  
Не здесь – в суете безутешной.

Но там сотрясается все до глубин  
Во время землетрясения...  
И всюду – разлуки, и выход один:  
Надежда и долготерпенье.

## *Выборы в школе*

В третьем классе, после того как нас приняли в пионеры, в нашем классе состоялись первые в моей жизни выборы – незабываемое впечатление от них осталось навсегда.

В пионеры принимали не всех, но почти, главным критерием была, конечно же, успеваемость. Напоминаю, что обучение тогда было отдельным, и каких-то особенных нарушений дисциплины просто не могло быть. Почему-то мне очень хотелось быть выбранной, на роль председателя совета отряда я даже не покушалась, с меня достаточно было стать звеньевой. Вот за это гордое звание у нас в классе и проходило настоящее соревнование в популярности. Организовала его наша новая классная Зинаида Константиновна, попросту Зина, которая сменила как раз в начале третьего класса «учительницу первую мою»; сейчас помню только её ласковое прозвище «Евгеньюшка» – Евгения Викентьевна – вот как её звали, старенькая, усталая, ласковая; девочки, которые к ней льнули, ходили у неё в любимицах. Я стеснялась обнимать учительницу, может, и не было потребности. Пока она нас учила, я постоянно чувствовала себя в классе на обочине; именно при ней родителей один раз вызвали в школу – это было нижней точкой моего поражения, к счастью, стояла осень на дворе, папа и мама отдыхали в Сочи (чудные от той поездки остались фотографии!). К их возвращению в школе всё как-то рассоса-

лось, я взялась за ум и стала решать примеры дома, а не списывать в классе перед уроком.

А вот Зинаида Константиновна была молодая, костлявая, рыжеволосая, нос морковкой – подобный фенотип довольно часто встречается в Белоруссии, как я смогла впоследствии убедиться. Внешне не слишком красивая, зато умная и живая; чем-то я заинтересовала её, и она «тянула» меня – к слову сказать, учиться стало интереснее, и отметки улучшились.

Вернёмся к выборам в звеньевые, которые были, как говорится теперь, «ноу-хау» нашей Зины: класс выдвинул две кандидатуры – Таню Андрееву, мою будущую лучшую подругу, и меня. По предложению нашей классной мы вышли к доске и встали лицом друг к другу, а девочкам, то есть электорату, предложили встать за спиной у той из нас, в чьём звене они хотят состоять в дальнейшем.

Конечно же, выдвинутой в кандидатки я оказалась не спонтанно – Зина предупредила нас о грядущей процедуре заранее, и я усиленно стала работать над завоеванием авторитета в массах, то бишь в классе. Ни с кем не советуясь и никому не рассказывая о своих планах ни дома, ни во дворе, я понимала откуда-то, что главными на короткое время выборов становятся те, кто учился плохо, потому что их большинство, хотя в обычное время дружить с ними было «не престижно» (опять слово не из тех лет!). Само собой получалось, что хорошо учились девочки из благополучных семей, а плохо учились те, у кого семьи были бедными или неполными. Такой порядок был заведен с первого дня учёбы Е.В., к концу четвёртого класса благодаря новой учительнице границы эти были практически размыты.

Так вот, в целях завоевания голосов избирателей, все перемены я собирала вокруг себя слушательниц и пересказывала содержание любимых книг и кинофильмов, прерываясь только на время урока. И до выборов рассказы мои пользовались успехом среди одноклассниц, просто я не занималась этим регулярно, но умение

рассказывать интересно было моим главным козырем; отдавая себе в этом отчёт, я стала использовать свой дар для завоевания популярности. Девочки из благополучных семей и сами много читали, чаще ходили в кино, среди них выделялись Ольга Биантовская и Тамара Андреева – их приводила в школу Олина бабушка, полная, породистая дама. Внучка была на неё похожа: такая же крупная, серьёзная, очень какая-то вся добротная, чуть флегматичная, а худенькая, бледненькая, но очень живая Тамара рядом с ней казалась ещё более мелкой, неуверенной в себе.

Ольга Биантовская – из художественной семьи, сама стала известной художницей – нашла вчера в Интернете целую кучу ссылок: её представили к званию заслуженной художницы, она занимает видное место в руководстве петербургского Союза Художников, принимает участие в благотворительных акциях и т.д. Неоднократно упомянуто, как после одного из организованных Союзом мероприятий восторженные участники спонтанно стали её качать. В восьмидесятые, приезжая в Ленинград, я ходила по редакциям журналов в тщетной надежде напечататься, в «Авроре» знакомое имя художницы бросилось в глаза, но то ли телефона не дали, то ли её не оказалось дома, только встреча не состоялась, увы. Именно она в конце концов оказалась по сумме баллов самой выдающейся личностью нашего класса «Б», 1949 года призыва, города Ленинграда.

Но в школе мы с Ольгой жили в параллельных мирах, и уж точно её не могло интересовать, какие фильмы я пересказываю девочкам на перемене. А ведь в классе были и такие, для кого цена билета в кино была непосильной – послевоенный Ленинград, начало пятидесятых, хотя кинотеатр «Спартак» был прямо окна в окна с нашей школой...

Любимыми книгами были в основном романы Жюль Верна – книги брались в библиотеке Дома Учёных, «Остров Сокровищ» Р.Л. Стивенсона, «Хижина дяди Тома» Г.Б. Стоу (была подарена мне папой по оконча-

нии второго класса, цела до сих пор!), и фильмы под стать: «Дети капитана Гранта», «Приключения Робин Гуда», «Королевские пираты», «Остров страданий».

«Тарзана» смотрели все, его не стоило рассказывать – очереди за билетами вились вокруг кинотеатра «Спартак» кольцами удава; наша девчачья школа 189, кирпичная, обшарпанная, выходила окнами как раз на светло-зелёное здание кинотеатра. С другой стороны, симметрично, располагалась мужская школа, щегольски облицованная тёмным блестящим камнем – это были бывшие немецкие гимназии Петер-шулле и Анна-шулле, потому что Петра Лаврова, бывшая Фурштатская, прежде, до войны была заселена густо немецким населением. Но всё это я узнала, конечно, лишь впоследствии.

Вопреки внешнему виду, внутри здания нашей школы сохранился дух немецкой гимназии – чистота и порядок во всём, обстановка торжественной ухоженности поддерживалась неукоснительно – в здании школы для мальчиков мне побывать не довелось. Наша директриса Елена Сергеевна – величественная, седовласая дама – являла себя миру учениц нечасто, но дух её постоянно над ними витал. Перемены мы проводили, чинно гуляя по просторному залу небольшими группами, тут я и разворачивала свои сюжеты, а на стенах висели белые мраморные доски, с выбитыми золотыми буквами именами золотых медалистов, и серебряными буквами имена тех, кто окончил школу с серебряной медалью; на каждой доске был также указан год окончания. Во время этих хождений недостижимая мечта, чтобы и моё имя когда-нибудь появилось под стенами этого зала, сладко тревожила воображение...

Итак, мы стоим с Таней Андреевой в классе у чёрной доски лицом друг к другу, как на ринге, а за каждой из нас выстраиваются девочки, как при детсадовской игре в паровозик, или при танце Летка Енка, который пришёл к нам из-за рубежа в годы юности. В тот момент мне было важнее всего, чтобы в моём звене захотело числиться не меньше человек, чем у Тани! Я просто

вспотела от напряжения, счёт был почти поровну, пока три подружки – Аля Горина, Нина Ишкинина и Аля Роговер, решившие не разлучаться, пристроились сначала за Таней, но в последний момент почему-то передумали и перебежали ко мне. От отчаянья к радости – не помню в жизни ещё такого резкого перехода!

Этим и окончились наши выборы; чем впоследствии мы в звене занимались, кого выбрали председателем – не помню совсем ничего.

Зато помню, как Аля Муринова, румяная, темноволосая, коротко стриженная, девочка из благополучной, но малопрестижной семьи – кажется, её отец был чуть ли не директором гастронома на углу Литейного и Петра Лаврова – застенчиво поднимает руку, и когда её спрашивают, чью кандидатуру она предлагает, потупив лукавые чёрные глазки, сказала, всех удивив крайне: себя. И все засмеялись. Дома на маленькую Наташу этот эпизод произвёл такое сильное впечатление, что она нарисовала в нашу домашнюю стенгазету свою любимую игрушечную обезьянку с поднятой лапкой и подписала: «Бима всюду выбирает сама себя».

Теперь лирическое отступление: уже в бытность нашей семьи в Минске, когда Танечке лет шесть, в мой день рождения пригласили на дачу Михаила Ефимовича Столярова – он возглавлял тогда бюро пропаганды в Союзе Писателей Белоруссии. Предыдущей зимой я с ним познакомилась, когда впервые ездила читать свои стихи в Гродно, и даже получила за это немалые по тем временам деньги! Произошло чудо: оказалось, что М.Е. был знаком с папой ещё по Ашхабаду, по военному училищу; был свидетелем моего рождения. Столяров вспомнил, как для папы собирали продуктовую посылку, когда он шёл маму навещать – ссыпали в его ранец рис, выданный на сухой паёк... На фронте он попал в окружение, а затем в лагерь, какое-то время сидел с самим Львом Николаевичем Гумилёвым; освободившись, поехал к Ахматовой в Ленинград и передал от него письмо.

Михаил Ефимович рассказывал тогда в Крыжовке, за праздничным столом, что в лагере спасло его от голода знание наизусть множества стихов, особенно, как он подчёркивал, уголовники любили Блока; за прочитанные стихи готовы были делиться своими порциями. И не только стихи – добавил он – большим успехом пользовались также пересказы приключенческих романов: Дюма, Жюль Верна, Стивенсона. Меня эти факты из его воспоминаний очень порадовали, напомнили мою школьную жизнь.

... Хотя с её приходом я стала заметно лучше учиться, умная Зина никогда не хвалила меня, говорила только: «Хорошо, но можешь лучше». Она была моим первым тренером. С этими словами выпустила в конце четвёртого класса в новую жизнь, к учителям-предметникам. Четверть века спустя поэт Сергей Александрович Поделков, руководитель поэтического семинара в Литинституте, который мне довелось окончить, при рассмотрении моих творческих работ каждый семестр повторял почти те же самые слова; а когда подарил мне свой тоненький сборник «Полночная песня», выпущенный приложением к журналу «Огонёк», написал: «Вам, чтобы оказаться на гребне в поэзии, необходимо контрольное усилие в работе – и вы достигните необходимого. Я буду счастлив». То есть хорошо, но можете лучше. Именно эти слова неизменно действовали на меня стимулирующе.

Вот ещё одно впечатление из младшей школы, которое особенно необычным, заслуживающим внимания кажется мне теперь: среди учениц нашего «Б» класса была такая девочка Галя Коган – худенькая, быстрая, в круглых очках. Она запомнилась мне причёсанной на прямой пробор, с подвязанными к ушам косичками с бантиками, дополняет картинку бумазейное коричневое платице, застиранный передник. Однако училась она хорошо, хотя и не была отличницей. В чём-то мы занимали в классной иерархии сходную нишу, поэтому, возможно, не дружили, хотя роднила нас с ней ещё и любовь к чтению, рассеянность, безалаберность.



Папа Гали официально работал на Севере (думаю, жил на поселении или просто служил там), он писал письма своей дочке, которые зачитывала вслух учительница перед классом, потому что Галин папа был в курсе многих событий и знал поимённо почти всех учениц. Конечно же, из писем своей дочери, вероятно, очень подробных, но он писал ей не просто ответы, он писал письма в стихах! Это казалось особенно непостижимым, удивительным. Просто длинное, подробное письмо о событиях и персонажах нашего класса тоже было бы интересно слушать, но в стихах! Втайне я ощущала и даже знала, что внутри меня тоже спрятаны стихи, что это и есть самое важное во мне, пусть никто об этом пока не знает. И однажды длинное письмо Галиного папы было посвящено практически мне одной! Я была потрясена тем, что меня зарифмовали, то есть тем самым мне дано чуть ли не бессмертие. Одновременно – в детстве искренне удивляло, когда тебя вообще замечают взрослые, а тем более кто-то, кто никогда даже не видел меня!

Сегодня из всех бывших девочек нашего класса более всего хотелось бы мне встретиться с Галей Коган, узнать, что-нибудь о её папе и как сложилась её собственная жизнь.

...На переменах, однако, мы не только чинно ходили парами по большому залу: в коридорах возле классов были небольшие тёмные холлы, там происходили настоящие обрядовые игры, разыгрывались целые представления; повзрослев, я неоднократно пыталась восстановить в памяти – как это началось? Но не смогла. Одну игру я встречала в хранящемся дома дореволюционном сборнике нот, называлась она «А мы просо сеяли»: мы не просто двигались шеренгами, но сначала одна наступала, пела свой текст и отступала назад, затем другая шеренга, положив руки на плечи друг друга, наступала, выпевала ответную фразу из старинной игры и тоже отступала. Кто организовал игру, научил этому действию – не помню, но смутно мерещится, что это было запрограммировано традициями школы.

Вторая игра была более сложной, потому что требовались солистки; сначала все хороводом пели: «Когда-то и где-то жил царь молодой» – после этих слов в середину выпихивался условный «царь», а уж затем он выбирал двух дочерей, под слова хора: «Старшая дочка злодейкой была, младшая дочка как розочка цвела». Старшая пыталась утопить младшую, рыбаки её «спасали», а в конце игры девочку, изображающую старшую сестру, все били (не сильно, но обидно) по голове. Поэтому я очень боялась оказаться в этой роли и всячески избегала проходить поблизости. Зато помню растерянный вид Гали Коган, когда её, беззащитную, били всем хороводом как злодейку. На роль младшей чаще всего выдвигали Таню Андрееву, которая считалась в начальной школе главной красавицей. И ещё – при Зине иерархия противопоставления красавиц и отличниц всем прочим была постепенно сломана, и в младшие дочери стало модным выбирать совсем других учениц.

Помню приятное удивление, когда в младшие дочери выбрали Таню Корнилову: росточка она была небольшого, худенькая, бедно одетая, кажется, жила вдвоём с мамой, но её живое лицо, как-то очень прямо глядящие в тебя тёмные глаза, в которых светилась доброжелательность и, простите, доблесть, привлекали не сразу, зато надолго. И гордая посадка головы – уж не правнучкой ли царского генерала была эта девочка – с подвязанными к ушам по моде косичками-хвостиками, на всех фотографиях класса в течение трёх лет взгляд её, прямой и бесстрашный, сразу останавливает внимание.

А в первом классе я сразу подружилась с Верой Солнцевой. Помог случай: мы оказались рядом на ступенях школы 1-го сентября, разговорились, её привёл папа – с виду просто мальчишка, не очень высокий худенький блондин. Вера была круглолицей, со светлой чёлкой, стриженная, решительная. Фамилия очень ей подходила. Помню, как мы с ней, гуляя по бульварчику посередине улицы Петра Лаврова, встретили одноклассницу Алю Роговер – честно сказать, она казалась мне похожей на

обезьянку и явно не принадлежала к благополучной семье – насуспенная, малоразговорчивая девочка; она подошла к Вере (явно меня игнорируя) и, протянув руку, разжала не очень чистый кулак. На ладони у неё за сверкала чудная драгоценность – кольцо с огранённым красным камнем: «Это тебе, Солнышко». Воображение рисует мне преклонившую одно колено фигуру, но это уже явный перебор, достаточно было этого смиренно дарящего жеста протянутой руки... Как я завидовала Вере и одновременно понимала Алю; впоследствии ни одна драгоценность в жизни не затмила сияния поддельного рубина в том дешёвом, наверное, кольце – Аля пояснила, что нашла его на земле, только что, я ей сразу поверила, ну, не украли же она его у матери из шкатулки, да и не могло у неё дома такой шкатулки быть...

Но к третьему классу как-то получилось, что сияние Солнышка слегка померкло, и уже мы с ней соперничали за дружбу с новенькой в классе Таней Лозовской – очень хорошенькой, беленькой, было в ней какое-то особое, с наигранной застенчивостью очарование. Кроме того, она умела быть ещё и по-женски вредной. Жила Таня ближе всех от меня – на пятом этаже, большая солнечная комната в 12-ом доме по Петра Лаврова, а я в 16-ом. К слову сказать, Вера – у неё к третьему классу родился братишка – жила в коммуналке на улице Чайковского, неблизко. Где жила, к примеру, Галя Коган, не знала, но точно – в противоположную сторону от школы, которая вела на улицу Кирочную, Некрасова и другие. В Таню Лозовскую я была просто влюблена, мама рассказывала, что как-то увидела, что я хожу кругами возле школы после окончания занятий, спросила, что я тут делаю. Я ответила, что жду Таню, которая была на дополнительных занятиях. Училась она неважно, её часто ругали; маме я объяснила, что мне надо с ней «закрепить отношения». Выражение это осталось в семье надолго. Жалею, что позднее, в отношениях с мужчинами, я проявляла меньше изощрённости.

Когда в четвёртом классе мы проходили уже восстание декабристов, мне пришло в голову создать в классе секретное общество под названием «Тайный союз четверых». На удивление не помню, кто же туда входил, но ни Тани Лозовской, ни Веры Солнцевой среди нас не было – дружила я в это время с более интеллектуальными девочками. Цель нашего общества не была ясна мне самой: помню, что мы решили выпускать журнал, и для этого собирались (тайно!) у меня дома. Мы так тщательно скрывались, что, когда шли зимой из школы в темноте, за нами, крадучись и улюлюкая одновременно, следовал чуть ли не весь класс. Когда члены общества в нашей детской склонились над бумагами для подготовки журнала, те, кто следовал за нами, прилепились носами к стеклу, наблюдая за нами (мы жили на первом этаже!); так что с секретностью всё у нас было в порядке. Шума и разговоров было столько, что узнали родители и, конечно, испугались: тайное общество, подумать только! Не надо напоминать, какие времена стояли на дворе. Я получила от папы нагоняй, но идея журнала не умерла. Главным автором и соратником по журналу была Изольда (сокращенно Иза) Медведева: она пришла к нам сразу во второй класс и была всех моложе на год, собственный папа учил её читать и писать, она сразу стала у нас круглой отличницей. Как самая умненькая девочка в классе, первой принесла в портфель редакции свой рассказ, в котором школьник готовил уроки под включённый приёмник, по которому непрерывно передавали русскую народную песню «Во поле берёзонька стояла». Мой папа, решив из предосторожности самостоятельно знакомиться с деятельностью «Тайного союза», прочитал рассказ и даже похвалил; до выпуска журнала дело не дошло. Пришло другое увлечение – я увлеклась историей и стала ходить на занятия в Эрмитаж.

Сейчас пора перейти к персоналиям – описать учителей-предметников, которые пришли к нам после расставания с Зиной; они сами приходили в наш класс – кабинетной системы ещё не существовало. Русский язык

и литературу преподавала Александра Александровна, вальжная, полная дама с голубыми глазами навывкате и с каштановыми завитушками, по прозвищу Помидора; в первый же час своего пребывания в классе она велела нам написать на каждой тетрадке по русскому: «МЫ ЛЮБИМ СВОЙ ЯЗЫК И СВОЮ РОДИНУ», и подпись – Тургенев. Это всё, что я про неё запомнила. И ещё – её заплаканное, распухшее лицо в тот всенародно траурный мартовский день...

Точным её антиподом представляется сейчас математичка Аннушка – отчество со временем затерялось, но как живая стоит перед глазами её прямая сухопарая фигура. В отличие от Помидоры, одетой чаще всего в пёстрые просторные одежды, Аннушка предпочитала строгие чёрные костюмы, называвшиеся тогда «английскими», сидящие «в обlipку», тёмные, мелко кудрявые волосы высоко подняты надо лбом. Она была очень хорошей учительницей, но математика тогда меня мало интересовала.

Имя учительницы рисования, Натальи Григорьевны Оксман, тоже почему-то засело в памяти, а её задание – нарисовать узор для ситца – выполнила на «отлично», удивив учительницу; рисование никогда не было моим сильным местом, но красные розы на чёрном фоне мне явно тогда удались.

Но главной учительницей в той ленинградской школе стала Александра Николаевна по истории; она заставила завести тетради по истории, где мы стали срисовывать узоры клинописи и лепить из пластилина шадуфы: это такие египетские колодцы с журавлём – для непонятливых. К пятому классу мне посчастливилось побывать с родителями в Херсонесе – одно из самых сильных впечатлений детства. Видя мой искренний интерес к предмету, А.Н. помогла мне записаться в исторический кружок при самом главном ленинградском музее – при Эрмитаже! Наверно, у неё были там связи, мне очень повезло, что последний год в Ленинграде раз в неделю по вторникам половину дня проводила в лучшем в

мире музее; детство кончилось, наступило отрочество. И только этот кружок, поездки на автобусе 47 на Набережную скрашивали к этому времени рутинную и уже малоинтересную школьную жизнь.

А вот история с выборами в школе всплыла в памяти через полвека, когда настали новые времена и страну затопили волны разнообразнейших выборов и разоблачения многочисленных выборных технологий. Меня, когда вспомнилась эта школьная история, удивило – откуда же я всё это знала в столь ранние годы? А потом поняла – в тот год или на следующий мой папа (а ему было в тот год слегка за сорок!) был избран академиком Белорусской Академии Наук, а дети вообще гораздо приметливей и сообразительнее, чем о них обычно думают взрослые.

С той же приблизительно поры осталось в памяти собственное стихотворение, нигде не записанное:

Америка в Европу свой хищный нос суёт,  
Ей мысль одна преступная покоя не даёт...

В оправдание ранней политической прозорливости уточняю: шла война в Корее, газеты полны были карикатур на дядю Сэма в полосатых штанах на толстом пузе, их я и рассматривала, стараясь понравиться папе, который укорял маму в том, что она не читает газет.

И ещё – мелькнул как-то по телевизору документальный фильм о выборах старосты класса в китайской школе. Более всего меня поразило – а возраст школьников вполне совпадал с моим тогдашним – как активно принимали участие в этом родители ребят! Кандидатуры были намечены заранее, каждый из выдвинутых на руководящий пост мог подготовить предвыборную речь; фильм фиксировал занятие одной мамы с дочерью, которая была в заветном списке, какие правильные пути завоевания симпатии и авторитета мама ей подсказала!. Но победил мальчик, папа которого снабдил его деньгами и предложил сыну перед выборами раздать избирателям полезные подарки.

Вы уже догадались, что именно этот мальчик и победил?

Не так уж и зарегулирована была, как видим, наша тогдашняя жизнь. К тому же родители наши были совсем не в курсе этих страстей, занятые настоящим делом.

\* \* \*

Не изгоняли, увезли,  
Без лишних слов, по малолетству..  
Туманный берег, город детства  
Громадой каменной – вдали.

Университет и длинный двор,  
Где пахло гарью и цветами,  
Вторично мы родимся сами  
Там, где душа отверзнет взор.

Во сне я видела зимой  
Последний день – без колебанья  
Мое последнее желанье:  
Перенестись туда, домой.

Блестит замерзшая Нева.  
Я – вдоль, неузнанною тенью,  
Как виноватая в измене,  
Как будто я уже мертва.

К закату истекает срок.  
Но слабо теплится надежда:  
Меня узнает встречный прежде  
У дома, где родился Блок.



## *Живые люди. Бабушка Анна Петровна*

Так называли папину маму между собой у нас дома родственники с маминой стороны – этим обращением подчёркивалось уважение и отчуждение одновременно. Так я привыкла с детства мысленно проговаривать её имя, хотя вслух обращались просто: баба Анюта – не путать с Бабаней, сестрой бабушки Веры, маминой мамы, которую знала с того самого дня, когда меня, десятимесячную, привезли в Москву из Ашхабада.

Но буквально на днях вспомнился мне один эпизод из жизни семьи уже в Ленинграде: папа – декан биофака ЛГУ – весь в работе, почти постоянно насуплен, мало вникает в домашние дела. Но именно в эти нелёгкие годы: конец сороковых – начало пятидесятых – были родители мои заядлыми театралами. И для меня со второго моего класса покупали абонемент в Малый оперный (ныне Михайловский) на дневные спектакли; так было принято.

Бабушка Анна Петровна приезжает нечасто, в качестве «бонуса» её снаряжают (выпроваживают?) со мной в театр; помню, как ходили мы с ней зимним воскресным утром на оперу Дмитрия Кабалевского «Семья Тараса». Места были шикарные, в партере, ряд девятый, на мне было только что сшитое мамой платье из красно-бе-

лой косой клетки с большим белым воротником. Мне эта малоизвестная сейчас опера, по сюжету напоминающая «Молодую гвардию», только действие происходит в сельской местности, очень даже понравилась. И сейчас могу напеть основную мелодию:

«За околицей родимого села  
Расставались мы как будто навсегда...  
Прощайте друзья, уходить пора,  
Пусть минута прощанья для всех тяжела»

Но когда мы возвратились домой после окончания оперы, бабушка буквально бросилась перед мамой на колени и умоляюще заголосила: «Тыня! За что? Лучше бы ты меня полы во всей квартире перемыть заставила!» Уже совсем взрослой, вспоминая этот и некоторые другие случаи с участием бабушки, свидетельницей которых я бывала, поняла, что некоторая склонность к театральности была ей присуща изначально. Кстати, что-то не помню, чтобы бабушка Вера, мамина мама, когда приезжала к нам в гости из Москвы, хотя бы разок сопровождала меня на дневной абонементный спектакль в Малый оперный театр. Вот я сопровождала её, вернее, она брала меня с собой в храм – это помню. Так что когда бабушку Анну Петровну, которая жила в Рязани, снаряжали со мной в театр, то негласно это было актом просвещения, приобщения к высокой культуре. А бабушка А.П., вероятно, на это и выразила свой протест – не надо меня просвещать и вообще тыкать в нос этой вашей культурой!

Кажется, именно после посещения оперы «Семья Тараса» она больше не приезжала в Ленинград, зато часто отправляла к нам в гости тётю Галю, папину сестру.

Теперь мне вдруг открылось, что её выпроваживала бабушка. Хотя тогда, маленькая, я всегда бывала рада гостям, а тётя Галя ещё и привозила для меня что-нибудь красивенькое, например, «отрез» на детское платьице травянисто-зелёного маркетизета в мелкие цветочк – просто мечта! Дома говорили, что это остаток от

её платья, но мне какое было до этого дело? Было шито чудесное летнее выходное платьице на кокетке, я себя в нём чувствовала очень красивой.

Папа и мама, узнав о приезде папиной сестры, купали уже не два, а три билета в лучший тогда Большой академический театр драмы им. Пушкина, так называемую Александринку; в тот раз, кажется, на премьеру инсценировки романа А. Степанова «Порт-Артур». Только тётя Галя почему-то совсем не радовалась – ни услышав о премьере, ни тем более из театра вернувшись. Тогда я, страстный театрал-теоретик, никак не могла этого понять. А вот сейчас меня вдруг как осенило – я поняла её кислый взгляд и раздражённое выражение лица. Но чтобы это стало понятно, надо немного прояснить биографию самой Галины – так называла её мама; была между ними какая-то стычка интересов, ещё во время войны, не хочу в неё вникать, когда в живых никого из «фигуранток» не осталось.

Галина была в семье младшей сестрой, а мой отец Николай Васильевич – её старшим братом; после папы бабушка родила ещё троих сыновей: Ивана, Петра и Павла. И только затем появилась на свет долгожданная дочка. В нашу последнюю встречу в Рязани, когда бабушке Анне Петровне было уже под девяносто, она несколько раз повторила: «Мой-то мне говорил – рожать будешь до тех пор, пока не родишь мне девочку».

Но женская судьба у долгожданной дочурки как-то не сложилась, неудачное время выбрала, наверное, родиться. В конце войны по призыву, военным медиком (она окончила медицинский институт), Галина оказалась на Дальнем Востоке, а через пару лет вернулась к бабушке в Рязань с сыном Олегом в свёртке. Что фамилия её мужа Терещенко – мне запомнилось, но Олега она записала Турбиным. В том, что не ужилась Галина с отцом ребёнка, даже бабушка не винила никогда не виденного ею отца Олега: «Уж очень нелёгкий у Галины характер». Думаю, самой бабушке больше всего от нелёгкого характера дочери и доставалось.

Итак, осталась молодая женщина с ребёночком без мужа, да ещё в Рязани, где все на виду, а в Ленинграде живёт старший брат-профессор, и бабушка отправляет её в отпуск в большой город в надежде, что познакомится с кем-нибудь её доченька, и хотя бы в хорошем настроении вернётся домой. А втайне надеялась, возможно, что и кандидата в женихи найдёт ей Коля! Естественно, открыто это ему не вменялось, не принято это было тогда. И вообще папа всячески избегал скользких вопросов про женихов не только с бабушкой, но и с собственными дочерьми, как и с внучками впоследствии. Маму мою бабушка тоже попросить напрямую познакомить Галину со свободным молодым человеком не решалась, непростые у них были отношения. Ей казалось, наверное, что все и так понимают суть проблемы. Но после очередного похода в театр тётя Галя кричала, что не надо для неё ничего делать, с ней не посоветовавшись, и ушла жить к подруге, у которой было так тесно, что спала Галина, по её словам, «под роялем». Короче, ни с кем стоящим её в Ленинграде не познакомили, она сама в Рязани нашла впоследствии достойного человека.

Но сейчас мне хочется подробнее о бабушке Анне Петровне вот в связи с чем: уже мы жили в Минске, когда в очередной приезд она подарила мне небольшую по формату, тонкую, но в твёрдой обложке книжечку стихов Юлиана Тувима, в великолепных переводах Анны Ахматовой, Давида Самойлова и Леонида Мартынова. Назывался сборничек «Вёсны и осени», в суперобложке жёлто-зелёного цвета; сейчас мне представляется, что это было первое издание знаменитого польского поэта на русском языке, кажется, в 1960 году.

Книжка оказалась для меня судьбоносной – я училась тогда на втором курсе физфака БГУ. Уже прошел мандраж первого курса, страх вылететь после первой же сессии, жизнь постепенно налаживалась, и почему-то именно после прочтения чуть ли не первого в ней стиха:

«Сказать тебе не смею,  
Как эта грусть безбрежна,  
А день сегодня белый,  
А день сегодня снежный...»

что-то со мной произошло. Нет, самым первым в той книжке было другое стихотворение:

«Мне стали безразличны большие города:  
Они не скажут больше, чем эта лебеда...».

И вот стихи, которые давно, чуть ли не «от рождения сидели внутри меня, вдруг вышли наружу и пошли бродить по улице». Так писал Тувим про то, что случилось с ним самим в юности после первого знакомства с книгой стихов Леопольда Стаффа. Именно после прочтения стихов Тувима у меня как пробку из души выбило – стихи пошли потоком, только успевай записывать. Почему так случилось? Важно, что именно бабушка Анна Петровна, папина мама, подарила мне эту книгу. Сама она училась в школе совсем недолго, только четыре года, писала крупно, по-детски. На книжке, ею подаренной, была надпись: «ЛЮБЕ ОТ БАБУШКИ». Геночка Новицкий даже укорял меня, думал, что я нарочно сама эту надпись накарябала: «Как не стыдно!». Он не допускал, что моя родная бабушка может так писать...

А меня удивляет и восхищает другое: где отыскала бабушка эту книжку мне в подарок? Папа всю жизнь собирал книжки, а вот бабушка отнюдь книжницей не была, жизнь не позволила, не до этого было. Но она имела старшего сына, явно одарённого художественно и поэтически, и глаз у неё был намётан: что-то она во мне разглядела. Помню, когда я ещё училась в девятом классе, бабушка рассказала мне о том, как папа тайком от семьи бросил художественное училище в Рязани и уехал в Воронеж, где поступил в сельскохозяйственный институт. И я ей сказала просто так: «Если ты так хочешь, бабушка, я тоже убегу из дома». А когда вернулись родители, бабушка им взволнованно сообщила: «Следите за Любой, как бы она не убёгла!».

Но это так, реплика в сторону. Именно она, дорогая моя бабушка Анна Петровна разглядела во мне поэтический талант, и счастливый случай подsunул ей ту самую книжку! Не более начитанные бабушки с маминой стороны, а именно она, окончившая четыре класса, но одарённая мудростью и проникновенностью, за что я ей бесконечно благодарна.

Папа её очень чтит и говорил: «Моя мама – святая». Долгое время это казалось преувеличением, пока Галя Баранова, моя двоюродная сестра из Рязани, не рассказала мне много подробностей из жизни бабушки. Она родилась в довольно состоятельной купеческой семье Салеховых, отличалась редкой красотой. Однако замуж вышла по тем временам не рано, в 22 года, муж был моложе её, ему было всего 18. Мой дед Василий Николаевич Турбин был младшим сыном, перед ним – три сестры. Их семьи жили рядом, бабушка дружила со старшими сёстрами будущего мужа. В неё был влюблён начальник железнодорожной станции Тума, и бабушка, как с её слов рассказала мне недавно Галя, тоже неровно к нему дышала. Но отец приказал выходить за Василия, и она не посмела ослушаться – какие-то там были меркантильные интересы. По старым фотографиям можно догадаться, что человек он был амбициозным, самолюбивым. И время способствовало проявлению подобных черт характера – предреволюционные годы, первенец, папа мой родился в 1912 году.

Дедушка окончил бухгалтерские курсы и переехал с семьёй из Тумы в Великодворье – в рабочий посёлок при стекольном заводе промышленника Мальцева, где получил должность бухгалтера, и даже издал брошюру «Об истории профсоюзного движения на предприятиях стекольного производства». В 1926 году вышел из партии по собственному желанию – он верно почувствовал, что профсоюзное движение сворачивается, и таким образом выразил свой протест. Собственно, этим своевольным поступком он поставил крест на своей общественной карьере, переложив в какой-то мере заботу о материальном благополучии семьи на жену.

Правда, он предложил ей переехать в Москву – приблизительно тогда же, но бабушка благоразумно затормозила очередной авантюрный рывок мужа словами: «Куда же я с пятёркой?» И дедушка Василий Николаевич настаивать не посмел. Перебивался работой бухгалтера в нескольких местах и, будучи в духе времени вполне атеистом, пел в церковном хоре. Потому что главная его невоплощённая одарённость была музыкальной: он играл на всех инструментах, включая фисгармонию, которая стояла в их доме. К сожалению, никто из детей этой его музыкальности не унаследовал.

А бабушка держала корову все голодные годы и этим, вероятно, спасла семью от голодной смерти. Даже после переезда в Рязань продолжала корову держать – ходила на окраину города её доить и выгуливать, вставая в любое время года на рассвете. Правда, стойкую идиосинкразию к молоку папа мой сохранил до последнего дня жизни. А кроме того она, Анна Петровна, оказывается, обшивала всю семью – её младший сын, мой дядя Паша научился от мамы шить всё, даже верхнюю одежду: например, мог перелицевать пальто на вполне приличном уровне, что и пришлось ему однажды сделать к концу жизни, когда снова настали тяжёлые времена. А я узнала после этого случая, что бабушка семью не только кормила, но и обшивала.

Но как же я могла забыть ещё один бабушкин талант – она прекрасно вязала! Ещё в Ленинграде ни минутки не сидела без крючка или спиц: обвязывала любые кусочки ткани. Из них получались прекрасные платочки: долго хранился у меня в Минске один из лоскутка нежно-зелёного креп-жоржета, что подарила мне тётя Галя на платьице ещё в Ленинграде! И обвязан он был тонкими кружевами из бумажных катушечных ниток, на шёлковые у бабушки никогда денег не хватало...

А вот страсть к театральным эффектам ещё раз проявлялась у неё в Крыжовке, на даче, когда родился мой брат Вася и бабушка приехала летом помогать. Дачи акаде-

миков строились таким образом, чтобы по возможности отъединиться от всех прочих: заборы были из прозрачной сетки, обсаженной зелёными колючими кустами, что не лучше сплошных заборов. А бабушка была человеком живым, общительным: ей было просто нечем дышать, несмотря на целительный сосновый воздух, только среди своей семьи, отгороженной от прочих. В Минске, просидев не более часа на лавочке перед домом, она узнала о наших соседях по двору больше, чем мама за всё время до этого: от кого ушёл муж, кто болен по-женски и многое другое. На даче лавочки не были приняты, но бабушка выход своей энергии и любопытству нашла: посадила годовалого Васю в коляску и покатила её вниз под горку, к речке. Зато обратно, наверх, ей было коляску не втащить. И она остановила коляску у подножья и прилегла на травку, негромко постанывая, чтобы привлечь внимание редко проходящих мимо владельцев дач. Конечно, нашёлся человек, который помог поднять наверх и бабушку, и коляску с Васей. И если не произнёс вслух упрёка маме, встречающей их у калитки дачи, то уж на лице точно можно было прочесть: «Как же вы бабушку так далеко отпустили, да ещё и с коляской?»

Конечно, маму это не обрадовало: скорее всего, бабушка самовольно отправилась на прогулку, а теперь ещё и обрекла принимать упрёки! Но не все бабушкины инициативы кончались так печально – она, например, закрывала каждую ночь деревянные ставни на окнах нашего дома в Крыжовке. Для этого залезала на лестницу – участок был неровным, с одной стороны дом был выше, чем с другой, и достать до ставен можно было только с помощью лестницы. Бабушка даже по-детски гордилась, что именно она всех нас оберегает от нападения ночных пришельцев. И не таким уж это было преувеличением – вокруг нашей дачи стояли пока ещё пустые, незастроенные участки... Но по-настоящему, более всего она, конечно, гордилась своим Колей, который построил такой прекрасный дом!



Помню из ленинградского детства – я увлекалась тогда Жюлем Верном, и только что углядев в журнале портрет любимого писателя, воскликнула: «Папочка, вот здорово, да ты вылитый Жюль Верн!» Тут же сидевшая за столом бабушка Анна Петровна непривычно резко одёрнула меня: «Твоим отцом можно гордиться без всякого там Жюля». И была, надо признаться, абсолютно права!

Она любила яркие, чистые цвета в одежде: помню ярко-красную вязаную кофту, которую купил ей в подарок папа, выбирала и примеривала она сама. И в ответ на недоуменный взгляд мамы и на наши с Наташей насмешливые улыбочки отвечала: «Пусть я сама старая, зато кофта на мне новая, красивая!» Как я теперь её понимаю!

Главное в ней – она была существом общественным – многосторонне одарённым, с врождённым коллективистским сознанием; иначе не назовёшь. Жизнь в деревне, в заводском посёлке формирует его с неизбежностью; люди там всё знают друг о друге, живут друг у друга на виду. Приезжая к нам в гости в Минск, тут же на лавочке во дворе знакомилась, по маминому выражению, с кумушками, которые тоже всех знали и всем интересовались. И громко вопрошала вслед «молодящейся тёще» – преподавательнице французского языка из Института иностранных языков; эта дама даже в летнее время выходила из дома не иначе, как в шляпке и в капроновых перчатках: «Это чья ж такая кляча?» Справедливости ради надо сказать, что и у нас дома говорили про соседей – как же иначе? – и молодящейся тёщей эту даму прозвал папа, после того, как сосед сверху, зять этой дамы, как-то спяну звонил вечером к нам в дверь и требовал у папы вернуть свою жену, крупную, красивую брюнетку...

И вот теперь я окончательно поняла, почему так мучительно было для бабушки идти со мной «в оперу» – мне сейчас тоже совсем не хочется в театр, даже в самый лучший в Москве. На традиционном представлении просто скучаю, а уж на осовремененных трактовках

классики – их чаще всего показывают по каналу «Культура» – так от них просто оторопь берёт, так скрип ногтя по стеклу раздражающе действует на нервы. К счастью, никто особенно и не заставляет – только если приезжают гости, особенно из-за границы: и приходится сидеть «без дела» час или два на месте, молчать, вникать в чужие страсти. Конечно, современный театр – не чета театру моего детства, сплошной балаган! Скорее всего, бабушка так же думала про хвалёную оперу в Ленинграде. А может, дело вот в чём: в детстве рад любому выходу из обычной, будничной жизни, в книги, в театр... А с годами именно эту будничную жизнь начинаешь ценить и видеть по-настоящему интересной.

Бабушку интересовали всегда живые люди; именно отсутствие книжных штампов и предубеждений позволило ей разглядеть мою суть и подарить вовремя ту самую книжку. Уверена также, что это не случайность, а закономерность: бабушка Анна Петровна, как и моя свекровь Мира Алексеевна, обладала природным чутьём на людей, которое притупляется излишней начитанностью и образованием; ничто не даётся даром.

Но читать бабушка Анна Петровна любила – её младшая внучка Галя рассказала мне буквально на днях бабушкин отзыв на роман «Анна Каренина»: «Вот бы ей пять детей, да ещё огород, постоянной прополки требующий, не до романов бы ей, голубушке, было!» По словам дяди Паши, она была исключительно доброй матерью, никогда не ругала, не наказывала своих четырёх сорванцов и капризную дочку – только огорчалась, когда они делали что-то не так.

Дома, в Рязани, у неё постоянно была включена радиоточка, и даже в мой последний приезд, когда бабушке было уже под девяносто, она утром бойко спускалась с третьего этажа на первый – за газетой. Жаль, что папа не разрешил мне взять Таню, мою дочь, которой тогда было восемь лет, с собой в Рязань, и внучка не познакомилась со своей прабабушкой; а ведь она так просилась в эту поездку, даже плакала от огорчения, что я её с собой не взяла!

Папа мотивировал свой запрет взять Таню с собой тем, что для бабушки это будет утомительно. А для бабушки знакомство со старшей правнучкой, от старшей дочери её старшего, любимого сына Коли тоже могло быть живительным, чем-то очень даже значимым впечатлением. И в дальнейшем на Таню тоже могло благоприятно повлиять. Увидеть и особенно прикоснуться через два поколения – в этом есть что-то древнее, магическое; жаль, что в моей собственной жизни такого тоже не случилось...

## ПОЕЗДКА В РЯЗАНЬ

Успела! Господи – жива!  
Не шутка – девяносто два.  
Не оживляют пальцы спицы...  
Уже, узнав меня едва,  
Она сидит, не суетится.

Как будто слова ждёт: пора!  
Почти не кожа, а кора,  
Но взгляд особенно прозрачен,  
И проникает до нутра:  
Что за удел мне предназначен?

Ей прожитого суть ясна –  
Всё можно упростить до факта:  
А сколько деток? – Дочь? Одна?  
И губы в нитку – что ж ты так-та?

И много раз её вопрос  
На кухне повторяет эхо...  
А скул бугры, глаза враскос  
У нас от прадеда, Салеха.

Века жужжит веретено,  
Река достигла океана,  
Всё тоньше нить живая, но  
Да будет имя осяяно

АННА!

## Тётя Маруся и граф Монте-Кристо

У неё были удивительно светлые глаза, узкие, в густых тёмно-рыжих ресницах, и русые волосы, уложенные по головке фестонами, собранные низко, на шее в маленький пучок – удивительным изяществом веяло от её облика на мой детский взгляд. Тётя Маруся была младшей сестрой моей бабушки Веры, то есть тётей моей мамы, потому я называла её по-маминому: тётя Маруся. Никто так и не назвал её бабушкой – она умерла в 54 года, не дожив до внуков трёх лет. Рождённая в 1900 году, через шесть месяцев после смерти своего отца, Ивана Гавриловича Иванова-Полосина, она была седьмым ребенком в семье; Иван Гаврилович умер внезапно, в течение трёх дней от воспаления надкостницы, когда ему было только тридцать семь лет. Оставшаяся вдовой Пелагея Захаровна переехала во вдовый дом (думается сейчас, не без помощи бывшего хозяина имения, где дедушка мамин служил управляющим). Ей удалось дать образование сыновьям, а девочки кончили гимназию, что по тем временам тоже было немало; это из предыстории.

А вот что помню сама – жили-были три сестры: Анна, Вера и Мария, в конце сороковых, в послевоенное время, которое помню сейчас самым глубинным волне-

нием, старшим сестрам было за шестьдесят, младшей, тете Марусе ещё не было пятидесяти. На мой теперешний взгляд, она была просто молода, тогда мне так не казалось. С ней было всегда интересно: вокруг неё вилась клубящимся облаком атмосфера праздника и тайны, в отличие от категорического императива – не согнувшейся под ударами судьбы бабы Веры, и от исключительно житейски настроенной Бабани, которая, как мне казалось, стремилась ткнуть носом в прозу жизни и писала мне, первокласснице: «Чеши голову частым гребнем, чтобы не развелись вши». Естественно, я считала подобные советы прямым оскорблением и не отвечала на письма. То, что у Бабани было своё поле встречи с прекрасным, поняла значительно позднее. Из трёх сестёр именно она, старшая, прожила до девяносто двух лет.

А младшая, тётя Маруся, даже не дожила и до пенсии, осталась навсегда молодой; когда летом нас с сестрой привозили из Ленинграда на каникулы в Голицыно, под вечер в пятницу мы ждали тётю Марусю у калитки бабушкиного домика. Она возникает в конце Крестьянского проспекта, мы бежим навстречу – помочь поднести сумки, обнять и, главное, попросить: расскажи дальше! Ибо в свои недолгие приезды она пересказывала нам роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». И это неспешный, с подробностями пересказ в моём воображении значительно превосходил тот роман, который года через три, в шестом классе я прочитала самостоятельно – конечно же, достать его было очень нелегко, я училась тогда в Минске, во второй школе. И книгу эту неожиданно издали в тот год в Минске почти безлимитным тиражом; на обложке в чёрно-коричневой гамме был изображен зловещего вида человек в шляпе, наверно вполне отвечающий образу главного героя романа. Но тётя Маруся рассказывала мне как будто другую книгу – долго и подробно она живописала юношеские годы Эдмона Дантеса, его любовь к Мерседес, и даже его свадьбу с ней, которая была прервана арестом и его увели со свадьбы прямо в тюрьму – так мне сейчас кажется.

Главным было в её рассказе то, что герой стал жертвой зависти и клеветы, был несправедливо осуждён в самый счастливый день своей жизни. О пребывании его в тюрьме упоминалось без подробностей. Только срок впечатлял – десять лет, когда тебе только восемь, это и означает – всю жизнь. Но зато его выход на свободу был обставлен в её рассказе многими подробностями и представлял полное торжество справедливости! И главное – Мерседес его сразу узнала! О мести была скороговорка – не смакуя подробностей, все получили по заслугам. Несколько погожих субботних вечеров были заполнены этим чудесным рассказом, в пасмурные, дождливые она, увы, не приезжала. И книгу купила, чтобы вернуть то особое настроение – возвращение в мир справедливости, временно попорченной, в мир гармонии и порядка.

Но самое дорогое для меня воспоминание, связанное с тётёй Марусей, следующее: лето 1953 года, тетя Маруся после операции (рак желудка) живёт в Голицыно безвыездно, под патронатом Бабани, её старшей сестры, давно заменившей ей мать. Она заботится о больной, но и тиранит её нещадно, пичкает лекарствами по часам, донимает поучениями.

Сама тетя Маруся уже понимает, что песенка её спета, и никакими во время принятыми лекарствами сильно ничего не исправишь – это её последнее лето...

Мы с сестрой тоже живём этим летом в Голицыно, кто из взрослых за нами приглядывает – не помню. И вот однажды, в пригожий, тёплый июльский день Бабаня куда-то отправилась: то ли по делам в Москву, то ли за продуктами, а тетя Маруся и говорит: «А не отправиться ли нам на дальнее озеро, за лилиями?»

Разумеется, мы с Наташей в восторге, и дальнее озеро для нас звучит так же волшебно, как «Лебединое озеро» – прошлой зимой я уже приобщилась в Ленинграде, в Малом оперном к этому лучшему из балетов (так и считаю до сих пор). Мне казалось тогда, что шли мы очень долго, как мне кажется, не ехали ни на автобусе, ни на машине тем более. Озеро было совсем небольшим,

подёрнуто ряской чуть ли не до середины, но водяные лилии, они же белые кувшинки, на поверхности были замечены нами издали. Конечно же, я порывалась сразу залезть в воду, чтобы их сорвать, но тетя Маруся меня не пустила, а вошла в пруд – да, это был скорее пруд, чем озеро! Помню её, выходящую из воды с цветами на длинных круглых стеблях в левой руке, а правой изящным жестом она придерживает длинную полу пёстрого сарафана, чтобы он не промок. Даже расцветку штапеля в мелкие жёлто-розовые цветочки помню, но главное – неподдельная радость в глазах в ответ на наш восторженный вопль... Мне не доводилось видеть до этого редкий цветок наших водоёмов, близкий родственник которого – лотос – прославлен на Востоке.

Это была последняя моя с ней встреча; когда мы доплелись назад, до нашего дома на Крестьянском проспекте, вернувшаяся раньше нас Бабаня устроила грандиозный, почти театральный скандал, нам с сестрой тоже досталось за то, что мы не остановили больного человека от безумной затеи идти так далеко... Лилии спрятали или даже тихо выбросили, чтобы никто не догадался о том, что Маруся ещё и в воду залезала. Прямо после обеда, не вступая с сестрой в перебранку, тетя Маруся уехала в Москву. Бабаня любила её властной любовью – ухаживала самоотверженно, но ждала беспрекословного подчинения взамен. Думаю, это воскресенье с походом за кувшинками сама тётя Маруся вспоминала не раз потом в больнице как один из последних приятных дней жизни. Её не стало в мае следующего года.

Всё это вспомнилось, когда недавно по ТВ показали тот, самый первый фильм «Граф Монте-Кристо», с Жаном Маре в заглавной роли. За жизнь довелось увидеть несколько экранизаций знаменитого романа: и с Жераром Депардье, и с Виктором Авиловым пополам с Евгением Дворжецким в главной роли. Каждая из этих попыток передать магию, которую этот сюжет источает поверх текста, достигала своей цели в той или иной мере, исполнители акцентировали те черты героя, которые им



казались важнее прочих – Жерар Депардьё, недавно ставший гражданином России, поражал в этой роли, как и в других, неистовым простонародным жизнелюбием. Не хочу ничего говорить о других исполнителях – это названо уже давно: «наши играют заграничную жизнь». Но вот Жан Марэ...Он передаёт надчеловеческую, особую природу Эдмона Дантеса во второй части; красотой, изяществом движений, умением носить модную одежду наповал сражает своих врагов, не только умом и богатством, которое даёт неограниченные возможности. Всё точно по-тётимарусиному.

Почти сразу, как только мы получили известие о её кончине, мама рассказала мне о её муже дяде Иосифе Кнаппе, венгерском коммунисте, который был арестован в 1937 году, а в 1945 на него пришла похоронка без указания места и точной даты смерти. И я сразу вспомнила, как вдохновенно тётя Маруся рассказывала нам с сестрёнкой сюжет романа о несправедливом осуждении и последующей возможности осуществить справедливое Возмездие, о котором мечтали, вероятно, тысячи заключённых, а также их близкие в послевоенные годы. Пишу именно об этом временном промежутке, потому что для меня живое время начинается с того года, когда я появилась на свет, до этого всё происходящее отмеряется (представляется!) временем мифологическим. И рассказывая мне сюжет одного из самых знаменитых в мировой литературе романов, тётя Маруся вложила в него столько живого чувства и вдохновения, которое, простите за вольность, не было даже у самого автора многих замечательных книг – она же пересказывала единственную! И в исполнении Жана Марэ его возвращение из тюрьмы воспринималось как возмездие свыше, ощущался в самой личности актёра некий сверхплан, иная природа, этакая снисходительность к жалким и грешным...

Но я так мало успела сказать о самой тётё Марусе – она работала в Москве в Публичной библиотеке, какое-то время, кажется, в войну, в библиотеке Гиттиса. Она прекрасно пела – училась у частной учительницы

пения в молодости, а затем всю жизнь ежевечерне занималась музыкой и пением сама, за домашним фортепиано. Она прекрасно вязала изящные вещицы, дополняя своими рукоделиями скромный послевоенный быт: салфеточки, мережки, воротнички и манжеты собственной работы украшали её комнатку в коммуналке на Староконюшенном, а также отличающиеся изысканным вкусом скромные наряды. Поэтому мне очень обидно слышать сейчас с экрана ТВ многочисленные свидетельства о том, как неинтересно, серо и буднично были одеты женщины при социализме. Причем героиня моего воспоминания принадлежала ни в коем случае не к элите – возможно, при жизни с мужем-инженером, получавшем в Инснабе спецпаёк в лучшие годы, так про неё можно было сказать, но я знала её в годы послевоенные, уже фактически вдову, содержащую на скромную библиотечкарскую зарплату сестру-иждивенку и сына-студента. Помню цепкой детской памятью её украшения, по-нынешнему бижутерия, не драгоценности, но одно ожерелье ясно вижу внутренним взором до сих пор: мелкие сиреневые камешки в золочёной оправе, сложно соединённые между собой изгибами крупной цепочки... Как было с ней интересно всегда – и слушать её рассказы про розыгрыши, принятые в их семье, и мастерить платья для кукол! А к истории графа Монте-Кристо я просила её возвращаться при каждой встрече. Она была улыбчивой, с мягким чувством юмора – на её подколки нельзя было обидеться.

Скончалась она в 1954 году от рака желудка, но до сих пор более гармоничного, а значит – счастливого человека мне не довелось встретить, а уж тем более в нашей многочисленной разветвлённой семье. И каждый раз, когда по телевизору повторяют показ той первой экранизации «Графа Монте-Кристо», непроизвольно оживает она, сумевшая, вопреки всем тяготам жизни, оставить в памяти образ светлый и гармоничный.

## ПОКАЯНИЕ

Всё это помнила подробно:  
Что головы нельзя поднять,  
Как вместо самых близких брёвна  
Поглаживать и обнимать.

Не щепки в стороны – опилки  
Текут беззвучно, в никуда..  
И милость принятой посылки  
Мне изъяслялась – но когда?

До моего рожденья где-то,  
Давно, ещё за двадцать лет,  
И мой по ложному навету  
Был молодым расстрелян дед.

И знак беды к нам в хромосомы  
Внедрился и проник до дна:  
С прищуром, пристально, знакомо  
Взглянул с экрана сатана.

И страх гнездится в сердце: где мы?  
Навеки врезано клеймо –  
Коснулась вслух запретной темы,  
И взгляд с прищуром – из трюмо.

## *Под знаком отца*

Во времена моего детства, сразу после войны, в Ленинграде не семья – двор был элементарной ячейкой общества: это была большая коммунальная квартира, выплеснутая на улицу. Тут познавались основные законы жизни, решались важнейшие мировоззренческие вопросы; например, чтобы понять – кто ты? – новичку задавались три на первый только взгляд дурацких вопроса: «Ты за кого – за Москву или за Ленинград? За Пушкина или за Лермонтова? За Ленина или за Сталина?»

Послевоенный мир суровых мужских ценностей требовал определённости, решительных действий: например – а слабо прыгнуть с крыши сарая? И надо прыгать сразу, хорошо если зимой, в сугроб, а дровяной сарай был в каждом дворе, отопление печное, во всяком случае – в том доме на Университетской набережной, где мы жили на третьем этаже с 1945 по 1948 год, а впоследствии располагался физфак ЛГУ... И я прыгнула, ничего не сломала, к счастью, только разбила в кровь колени. И вот меня ведут дети под руки по двору, я реву во всё горло, мама слышит: а это ваша Люба плачет. Громким и частым плачем я была известна в том самом узком и длинном дворике ленинградского университета, «где пахло гарью и цветами», где бледные звёзды душистого табака и неприметная, но душистая резеда цвели на клумбах, ближе к парадному выходу на набережную. А

сарай тот стоял в противоположном конце от домика ректора и от Невы. Меня – за громкий плач и многочисленные злоключения – знали вахтёры у калитки, потому что вход в тот дворик был по пропускам. Папа был самым молодым заведующим кафедрой в университете – в ноябре сорок пятого, когда мы переехали в Ленинград, ему не хватало месяца до тридцати трёх лет. Но эпизод, о котором я сейчас пишу, относится к сорок пятому или даже к сорок шестому году. Папа забыл пропуск, или потерял его, в эти годы он славился своей рассеянностью – прочитанное мне тогда стихотворение Маршака «Жил человек рассеянный» запомнила наизусть именно потому, что так и считала: это про моего папу.

Так вот – папу не помнили в лицо вахтёры на входе, и его не хотели пускать, но дети дружно закричали: это же Любин папа! И его пропустили.

Историю о том, как мама «навязала» папе меня при походе в булочную, описывала неоднократно, есть и стихотворение «Баллада о булочной»: триумфальное возвращение у папы на плече со свежим хлебом было очень важным, даже переломным событием моего детства. У меня появилась внутренняя опора на всю жизнь – папа мной гордился однажды, и значит – это может повториться. Что и стало моей внутренней установкой на многие годы вперёд.

Из тех лет, пока я была единственной дочкой в семье, помню, как сидим мы с мамой у печки, шевелим кочергой дрова, и мама спрашивает: где же наш папа, Любочка? В это время папа ездил в Петрозаводск читать лекции – для заработка, возвращался достаточно поздно, я обычно спала. Кроме того, пока папы не было, мама больше беседовала со мной, а я могла попозже идти спать... Поэтому на мамин вопрос отвечала с легкомысленным оптимизмом: «Ничего, будет утром лежать на кровати!» К счастью, так в дальнейшем и происходило.

В выходные по утрам папа позволял себе поваляться на кровати, и я пристраивалась около него с вопросом: «Папочка, можно я из тебя и из одеяла построю домик?»

И ещё – он вернулся с работы, но не спешит раздеваться, стоит в дверях со странным выражением лица, а я ему: «Ты что стоишь как непричёмный?»

А потом – почти одновременно – мы переехали на улицу Петра Лаврова и я пошла в школу, но папа по-прежнему был главным во всём. Например, помню, как папа ругал маму за то, что она не читает газет. И я, чуть научившись грамоте, тут же кинулась их читать, чтобы понравиться папе. Конечно, больше рассматривала карикатуры, политическую сатиру: помню очень отчётливо изображение Иосипа Броз Тито в образе наглого бульдога, дядю Сэма – высокого, но с брюшком, в цилиндре и в брюках звёздно-полосатых, а потом на картинках началась война в Корее... Попытки проявить эрудицию и поговорить на политические темы не имели успеха, зря я старалась.

В третьем классе, когда мы стали проходить биологию, а также учить испанский язык – четыре школы на весь Ленинград – в двух учебниках сразу, и в биологии, и в испанском, мы узрели портреты академика Т.Д. Лысенко. Под ними его биографию, по-русски и по-испански. Дома я постоянно слышала эту фамилию в самом неблагоприятном контексте; потом узнала, что как раз в этом году папа работал над статьёй о видообразовании, где впервые вступил в публичную полемику со знаменитым академиком. Поэтому дома долгими осенними вечерами приводил сложную аргументацию, доказывая маме за ужином свою правоту, я всё слышала, безнадежно пытаюсь понять: о чём шла речь? Очевидно было только то, что Т.Д. – главный недруг моего папы. И вот меня вызывают на уроке биологии рассказать урок. Я рассказываю всё, явно избегая фамилии Лысенко, на прямой вопрос просто молчу как партизан на допросе. И удивлённая учительница говорит:

– «Как не стыдно, ты же дочь учёного!»

Но поскольку какую-то часть заданного я ответила, поставила всё-таки «три», а не «два». Именно за то, что это «три» – посредственно! – презрительно

посмотрел на меня папа, сказал саркастически: «Эх ты!» И я не стала оправдываться, объяснять, что это я специально не отвечала, в его поддержку... Долго мне казалось, что именно тогда началось глубинное непонимание, растянувшееся на годы, и я стала скрывать все свои проколы от родителей, это стало даже не привычкой, а натурой.

Однако сейчас, после некоторых размышлений, детская эта история видится мне по-новому. Крайне скупое, считая своё нежелание пересказывать хвалебные слова в адрес всеильного Лысенко поступком почти героическим, я ввела папочку в курс дела, но не получила его одобрения. Вот тогда я обиделась и замолчала надолго. А папа всего лишь спросил меня:

– С чем именно ты не согласна? Объясни мне – где неправда в описанных событиях жизни этого учёного? Ты не согласна с сутью его достижений?

Естественно, я не могла сказать внятно ни слова.

– Ну, тогда отвечай как в учебнике, – подытожил папа и потерял к разговору всякий интерес. Так я получила важный урок, который тогда не поняла: папа был против любой фиги в кармане, даже у третьеклассницы, а уж если ты решилась на протест, то сумей обосновать суть своих претензий!

При любой власти человек, стремящийся к успеху, желающий достичь высокого положения, обречён на компромиссы. Важно – на какие именно и когда? Папа не был исключением из этого правила. Напоминаю – на дворе 53 год, и папе ни к чему иметь дома заговорщика, каким я себя и ощущала в душе – наверно, только что закончила читать роман «Овод». Своей насмешкой папа хотел пресечь в корне зарождающееся в доме диссидентство. И ему это в общем-то удалось – я запомнила, хоть и с обидой, что подобное поведение желаемого одобрения от отца мне не принесёт. Я действительно не понимала ничего в обсуждаемых проблемах, и главное – они меня крайне мало интересовали.

Поразительный сплав юношеского романтизма со здравым смыслом составлял то самое неделимое устойчивое ядро папиной личности, то, что можно обозначить словом «самость».

Был ещё один случай, долго мной не понимаемый и потому вызывающий обиду; это уже первые числа марта пятьдесят третьего. Улица гудит. Все читают на уличных стендах для газет сводки о здоровье Сталина. И вот – конец всему, кто теперь ответит на вопрос – как жить дальше? Слушая разговоры взрослых на улице, я именно так думала, потому утром влетела в спальню родителей со словами: надо ехать в Москву!

И в ответ помню папино увесистое как пощечина слово: «Дура!» Он просто размазал меня по стенке, и я долго, уже совсем взрослая, не могла понять – почему? Недавно мама рассказала мне, что перед моим появлением в спальне папа сам говорил маме о том, что ему надо срочно ехать в Москву, а она не хотела его отпускать. И вот я появилась – как карикатура на него; нелепость самой идеи поездки стала очевидной. Вот и отгадка его раздражения – он был неправ, а признавать это всегда трудно...

Было два занятия в детстве, тесно связавшие меня с папой, и одним из них был футбол. Да, именно в Ленинграде, где ехать на стадион надо было в страшно набитом троллейбусе: сначала втиснуться в него, преодолевая сопротивление плотной человеческой массы, затем вытиснуться обратно, а после идти пешком достаточно долго в толпе, как на демонстрации – ни шага в сторону. Болели мы с папой за «Зенит», который тогда почти всё время проигрывал. Я, конечно, была очень горда своей причастностью к взрослой мужской жизни. В перерыве папа пил пиво и угощал меня – боюсь, что в буфете стадиона лимонада в продаже не было. Но это – тайком от мамы. Позднее, когда мы переехали в Минск и жили, можно сказать, в пяти шагах от стадиона, пару раз мы с папой довольно вяло сходили на стадион «Динамо». И команда «Динамо» Минск играла в тот год вполне



успешно, но не было того азарта, того вдохновения от зрелища – интерес к футболу у папы увял, и у меня, соответственно, тоже.

Второе, общее с папой увлечение, просуществовало значительно дольше и сыграло, можно сказать, определяющую роль в моей жизни. Это было наше с ним хождение по букинистическим магазинам в выходные дни. Помню особенно один из наших постоянных маршрутов, магазин на углу Литейного и Невского, пыльные старинные книги на витрине, и та особенная обстановка внутри, исключительная вежливость и утончённые манеры работающих там немолодых интеллигентных женщин с типично ленинградскими лицами; разговаривать можно было только вполголоса... чувствовалось, папа был тут завсегдатаем. Позднее, находя в его библиотеке книги по мировой философии с печатью этого магазина, я сразу вспомнила эти наши с ним воскресные утренние походы. История философии – именно здесь явно ощущался им дефицит широты и кругозора. Страстно, как и всё, что он делал, папа стал преодолевать этот свой недостаток. Когда моя дочь Таня поступила в МГУ на философский факультет в 1987 году, то в папиной библиотеке в Москве нашлись практически все необходимые ей первоисточники.

Так вот, годы между переездом папы из Москвы в ЛГУ, где вскоре он был назначен деканом биофака в 36 лет, и отъездом в Минск, уже избранным академиком Белорусской академии, были годами напряжённого, очень насыщенного самообразования. Это было следствием осознанной отцом именно тогда недостаточной научной и общекультурной подготовки, оказавшись среди старой, ещё петербургской профессуры. Тогда и отдался он чтению самому разнообразному, стараясь заполнить пробелы в своём образовании, полученном ещё до войны в Воронежском сельхозинституте и после в Москве, в докторантуре.

В Минск приехал уже не просто компетентный учёный-биолог, а человек широчайшего кругозора, вполне

соответствующий по своей эрудиции высокому званию академика любой академии мира. Ему было тогда сорок два года – возраст акмэ, равновесного развития духовных и физических сил. Папа первоначально стал директором Института биологии АН БССР и одновременно заведовал кафедрой генетики Белорусского государственного университета.

Об успехе отцовских лекций по генетике на биофаке БГУ в конце пятидесятых мне рассказали посещавшие их видные друзья-гуманитарии: филолог Адам Мальдис, поэт Рыгор Бородулин, художник Нелли Счастливая. Лекции эти были подлинным культурным событием тогдашнего Минска – с папой в жизнь города ворвался свежий ветер перемен, которых все ожидали с нетерпением. Так получилось, что в середине прошлого века именно генетика стала главным полем идеологической борьбы.

...И мне довелось прослушать несколько папиных лекций, когда я уже работала в Институте генетики и цитологии. Поразила меня та бездна обаяния, артистизм, которым он заражал аудиторию, стараясь, чтобы его не просто поняли, а полюбили предмет – в том числе и через любовь к нему самому, что подтверждают и воспоминания некоторых его студенток. Никогда – ни дома, ни в Институте, я не видела его таким вдохновенным! Думаю, что папа был прирождённым лектором, с талантом от Бога.

В Академии всюду шло строительство Института генетики, который папа позднее и возглавил. Однажды – я была, кажется, в девятом классе – среди ночи раздался звонок: в новом здании института прорвало трубу, папе надо срочно ехать туда. Почему я вдруг мигом оделась и вызвалась ехать с ним – не помню, но он меня взял, а мне хотелось как-то его защитить. И действительно, ситуация была не из приятных, техника удалось вызвать не сразу. Таких звонков было, наверное, немало, просто я помню именно этот. Институт генетики и цитологии был открыт в 1965 году, и до самого своего отъезда в

Москву папа его возглавлял. Именно здесь ему удалось создать то, что называется “научной школой”.

Именно в Белоруссии отцу удалось выполнить три главных дела, положенных мужчине: построить дом, посадить сад, вырастить сына. Начнём с последнего – после перерыва в девять лет в 1956 году в семье родился мой брат Василий – названный в честь деда.

Тогда же затеял папа строительство дачи в только что выделенном для академиков посёлке Крыжовка, в двенадцати километрах от Минска. Папа занимался строительством дачи с увлечением и энтузиазмом, особенно на первом этапе. Бригаду строителей возглавлял крупный мужик, которого работяги почтительно называли Прокурором. Ближайший посёлок Ратомка был, как выяснилось, “чертой оседлости” для возвращавшихся из мест заключения, и Прокурор когда-то действительно им был. От него веяло опасностью. Это подтверждалось неоднократно; во время расплаты всегда выходило много больше, чем договаривались заранее, спорить с ним не хотелось. Впрочем, так бывает всегда, когда заказчик не слишком разбирается в предмете.

Зато когда пришла пора заниматься садом, папа оказался в своей стихии: у нас по сравнению с соседями оказался настоящий экспериментальный участок. Прежде всего папа озаботился тем, что называется теперь “ландшафтным дизайном”: вдоль прозрачной железной сетки красовались гладкие каштановые стволы уссурийской черёмухи Мааки, а далее зеленели ирга, боярышник и акация – ни у кого из соседей не было такой коллекции растений. А какой богатый и разнообразный фруктовый сад был посажен отцом: яблони, груши, вишни, черешня и даже абрикосы. Поскольку сад стоял практически среди сосен, черешни вымахали в высоту так, что ягоды её могли достать только птицы, абрикосы и сливы вымерзли в первую же суровую зиму, которая приходит раз в четыре года, а вот груши и вишни прекрасно плодоносили первые лет пятнадцать. Яблони же, верные терпеливые яблони, покрываются цветами по

весне каждый год, и плоды тоже вызревают, хотя очень давно никто ими не занимается.

Огород у нас на участке тоже был неплохо организован, даже дыни папа пытался вырастить, несозревшие плодики которой я сорвала, приняв по ошибке за огурцы, и уже на следующий год папин интерес к огороду почти угас. У него появилось новое увлечение: английский язык!

Когда необходимость выучить разговорный английский внезапно и полностью овладела отцом, неожиданно нашлась и учительница: природная американка, уже несколько лет живущая в Минске, Джэн Клавдиевна Курага-Скрага (фамилия по мужу) – она вышла замуж в Париже за гражданина СССР, который после поражения республиканцев в Испании оказался во Франции, а впоследствии вернулся в родной Минск. У него случались регулярно запои, и тогда она с двумя девочками убегала на улицу и бродила под дождём... Д.К. была женщиной исключительного обаяния, остроумная, весёлая, никогда не жаловалась. Первая в жизни знакомая американка располагала сердца узнавших её в пользу Америки. Вот как много может один человек!

Папа взял её на полставки в свой институт, и она регулярно проводила занятия с сотрудниками по английскому языку. А дома в эти годы непрерывно звучал голос Джэн Клавдиевны, записанный на магнитофонную плёнку – папа привёз из Японии лёгкий переносной магнитофон, один из первых в Минске. Он брился, одевался и завтракал под непрерывное английское бормотанье, мама роптала. Зато уже через пару лет отец смог поехать в Англию с чтением лекций в университетах на английском языке. Хотя с нашей, домашней точки зрения произношение у него было так себе.

В Минске папа купил машину и научился её водить, хотя по природе это было ему не сродни – за рулем надо думать о дороге, что очень напрягало его, поскольку всегда думал многоаспектно. Кроме того, он всегда хотел понимать, что к чему, а это не всегда получалось за

рулём. Вот картинка – мы едем на дачу мимо Юбилейной площади, милиционер останавливает машину, выпишивает штраф за нарушение. Мы продолжаем путь, уже выехали из города, но вдруг папа разворачивает машину и возвращается на площадь, чтобы сказать удивлённому милиционеру: “Я понял, за что вы меня оштрафовали!”

Очень напряжённо чувствовали себя мы, его семья, сидевшая в машине, когда он был за рулём. И потому все почувствовали облегчение, когда после крупной аварии по дороге на Нарочь в 1966 – по счастливой случайности никто не пострадал – папа водить машину перестал.

В Минске отец, будучи директором Института биологии, подвергся несправедливой публичной критике, больше похожей на брань: во время своего визита в Белоруссию Никита Хрущев нанёс «вразумляющий удар по Турбину и Жебраку», которые, по его выражению, «создали здесь очаг вейсманизма-морганизма». Только при активной поддержке Сергея Притыцкого, тогдашнего секретаря горкома партии, отец смог продолжать начатую работу – папу к этому времени в Белоруссии уже знали и ценили.

Для некоторого идеологического равновесия хочу рассказать эпизод, связанный с моим пребыванием в ИГЦ в должности старшего инженера (год 1965). На общем собрании папа информирует коллектив о своей поездке в Москву, на сессию АН СССР: «И тогда Келдыш (тогдашний президент АН, физик, разумеется) спрашивает у Лысенко – а вы, Трофим Денисович, над чем сейчас работаете? И слышит ответ: мы работаем над повышением жирности молока у коров. Корова – это не атом. Это объективная реальность!» Насмешливым тоном папа подчёркивает слабую образованность одиозной на тот момент фигуры Лысенко, а я, недавняя выпускница физфака БГУ, думаю: сколько, однако, смысла в этих словах...

У нас дома было принято чтение вслух, особенно на даче в Крыжовке; папа читал блестяще. Чаше других звучали Гоголь, Бунин, Лесков: чутьё к слову у него

было замечательное, и сам Осип Эмильевич Мандельштам хвалил в Воронеже его поэмы о Гераклите и о княгине Ольге. После моего поступления в Литературный институт на заочное отделение – до окончательно утверждённых списков я тщательно скрывала всю подготовку к этому шагу – папа сказал к моему крайнему удивлению только: «Наконец-то Люба проявила несвойственные ей настойчивость и силу характера». А когда в 1990 году стала членом СП, то робко передал мне свою поэму: исправь, если надо, и отдай в печать... Разумеется, я не посмела тронуть написанный им в юности текст.

И последнее в жизни им написанное мне письмо содержало его собственные поправки к поэме, которую удалось напечатать отдельной книжкой только в 2002 году.

А вот про непонимание... Помню, как в детстве, с тех лет, как я сама себя помню, он говорит обо мне маме – с тревогой? с сочувствием? с насмешкой? – «Люба витает в облаках». Причём это была законченная словесная конструкция, без вопросительного знака. И я не понимала в детстве, обидно это для меня или нет. Последний раз папа говорил свою коронную фразу уже в мои студенческие годы – ничего не изменилось, хотел он этим сказать, она так и не стала взрослой, хваткой, практичной... А сейчас я думаю – не потому ли папа так верно ухватил мою суть, что именно этим, а отнюдь не только курносый носом, рязанским сапожком, была я на него похожа более других детей. Это папа чувствовал потому, что сам «витал в облаках» всю жизнь, только гораздо лучше умел себя контролировать. А меня он чувствовал именно в силу нашей с ним биологической идентичности, глубинного сходства натур. За год приблизительно до того страшного лета, когда папы не стало, я приехала в Москву в феврале и на станции метро «Академическая» стала жертвой расплодившихся тогда лохотронщиков, отдав как под гипнозом все имеющиеся на тот момент деньги, а я ехала выкупать Танюше путёвку в Париж, первый отпуск после нескольких лет работы

просто каторжной... Я никому дома не рассказала о случившемся, занимала-перезанимала, ещё один человек очень помог. Но речь о другом – ни мама, ни Таня не заметили в тот день по моему лицу, что произошло нечто ужасное. А папа только взглянул, открывая мне дверь, и сказал: «Я знаю, что с тобой сегодня что-то очень плохое случилось, так тебе кажется сейчас... Не печалься, это не так важно и скоро пройдёт!» Как вспоминались мне эти папины слова после, особенно когда его не стало.

\* \* \*

Не сон, видение, кадр – стоп:  
Стоит отец и землекоп.  
Всё как и вправду – сад и лето.  
Берёза высветлила прядь...  
И папа знает где копать,  
Он объясняет – звука нету.

Но землекоп вдруг вперил зрак –  
И сразу воцарился мрак,  
Во сне я помнила то место...  
А утром – здравствуй, мотылёк:  
Загримирован под цветок  
Оранжевый свидетель вести.

Поведать он хотел – о чём?  
Но глух валун, поросший мхом...  
И не расслышанная вновь,  
Как и тогда, при этой жизни.  
Психея, бабочка, любовь  
Трепещет нервно в уккоризне...



## *Настоящая красавица*

Первый раз я услышала о том, что моя мама – красавица, в Ленинграде, во дворе Ленинградского университета, когда сидела с компанией таких же, как я четырёхлеток, у подъезда того здания, в котором мы жили, в котором затем располагался физфак, и катала рассыпанную кем-то клюкву в пыли. Чтобы потом отправить её прямо в рот, имитируя появившиеся впоследствии конфеты «клюква в сахаре». И тут из подъезда вышла (выпорхнула?) моя мама – для меня привычно нарядно одетая, в светлом пыльнике и шляпке-таблетке и явно куда-то спешащая; поэтому она лишь неодобрительно качнула головой в мою сторону на ходу – мол, не занимайся ерундой и лучше иди домой. Ничто не должно было в тот день омрачить её настроения и потому, наверное, мама не стала обращать внимания на явное безобразие, творимое ребёнком, чтобы не сосредотачиваться на негативе (как сказали бы теперь).

Сейчас понимаю – скорее всего это был один из первых моих выходов во двор после переезда из Москвы в Ленинград, год приблизительно 1946; дети из одного подъезда ещё не знали родителей друг друга, потому что вообще-то дети очень приметливы и запоминают всё быстро. Мамоchка моя удалялась по направлению к воротам, ведущим на набережную, а расположившаяся на земле группа малышни неотрывно смотрела ей вслед.

Болтовня стихла, и наконец одна из девочек спросила каким-то особенным, чуть сдавленным голосом: «Это кто?» А я ответила (не скажу, что с гордостью, а скорее с некоторым даже недоумением): «Это моя мама». «Настоящая принцесса!» – воскликнула та самая девочка с восхищением, остальные защебетали что-то в поддержку её слов. Не помню, чтобы это прибавило мне среди соседских детей авторитета – его ещё предстояло завоевывать прыжками с крыши, поисками сокровищ на располагавшейся рядом механической помойке, но заставило хотя бы внимательнее на меня посмотреть – разумеется, сравнение было не в мою пользу. Вот тогда я и поняла впервые, что моя мама не просто мама, а самая настоящая красавица, о которых пишут в сказках (до которых в те годы была я большая охотница – фраза из дореволюционных детских книжек, в те годы у нас дома ещё хранившихся).

И прошедшим летом, в августе месяце, приехала в Минск специально, чтобы увидеться с Марией Павловной Богдановой, последней из круга друзей моих родителей, вдовой Юрия Станиславовича Богданова, профессора математики, который в конце войны, благодаря блестящему знанию немецкого языка, ухитрился недолгое время прослужить в армии США. Уже полгода Мария Павловна лежала, не вставая с постели, но когда в начале июля я по телефону традиционно поздравляла её с днём рождения, слабеньким голосом она попросила «приезжай», и я пообещала, а обманывать людей уже очень немолодых нельзя, как и детей, впрочем.

И вот я у неё дома, зрелище удручающее – неужели это маленькое ссохшееся тельце на постели и есть та самая Мария Павловна, привлекательная кокетливая женщина и блестящая собеседница, которую её дочь Маша ревновала к своим друзьям, когда те приходили к ней на день рождения? Мои родители, когда жили в Минске, проводили все праздники «своим кругом», который состоял из нескольких супружеских пар: мужа – учёные, приглашенные для работы в Белорусском университете

незабвенным Антоном Никифоровичем Севченко. Это были в основном математики – Николай Павлович Еругин и Владимир Иванович Крылов, а также Владимир Мартынович Ширшов, доктор наук, приехавший из Ленинграда в Минск ранее прочих. Ну и Богданов, тоже математик, разумеется – он приехал позднее. Папа был единственным биологом в этой компании чистых математиков. А Мария Павловна, в отличие от прочих жён этого круга, была сама отличным математиком, преподавала в Политехническом, кроме того, Богдановы были самой молодой парой среди прочих, а также фантастически преданными почитателями художественной литературы.

Эта самая преданность литературе толкала их порой на довольно экстравагантные поступки – запомнилось, как однажды, в минской квартире моих родителей на улице Карла Маркса 45, Юрий Станиславович Богданов сказал в дверях, что если в течение недели мы не обнаружим, какую именно книгу он умыкнул из папиных книжных шкафов, он навсегда оставит её у себя. Я тогда очень удивилась, потому что, естественно, никто из домашних не инспектировал библиотеку регулярно. Каким-то образом, скорее всего, сам Ю.С. её вернул и всем показал эту книгу – «Историю Тома Джонса, найдёныша» Генри Филдинга. Я поняла её ценность; она и по сей день хранится в моём книжном шкафу. Но это отступление.

Понимая, что я вижу Марию Павловну скорее всего в последний раз, я разглядывала фотографии и хотела попросить себе на память ту, которая мне особенно нравилась; с неё смотрела ещё вполне безмятежно девушка с тонким, вдумчивым лицом и в кокетливой шляпке. И я решилась наконец спросить: вы такой красивой были в молодости, не подарите ли вы мне эту фотографию на память? И слабеньким голосом Мария Павловна прошелестела из постели: «Любочка, по-настоящему красивой была только твоя мама». Признание красоты другой женщины, по наблюдению Гоголя, вещь почти невоз-

можная («для женщины легче спознаться с чёртом, чем назвать красивой другую женщину»), тем более – это были последние фактически слова, которые я от Марии Павловны услышала. Она продолжила: «Когда мы впервые приехали в Минск и познакомились с твоими родителями, Татьяна Владимировна просто поразила меня своей победительной, сияющей красотой».

Да, ключевым словом тут было «сияющей», у мамы были удивительные карие очи – светлые, блестящие, всё вокруг освещающие – не помню ни у кого более такого струящегося из глаз света! Именно это и хотела сказать в наш последний разговор несравненная Мария Павловна; действительно, она на той фотографии была миловидной, хорошенькой, изысканной, загадочной, но не светящейся беспримесно чистой красотой.

Но драгоценность требует соответствующей оправы, и тут маме моей тоже не было равных. В те годы в самом начале Невского проспекта был такой магазин – «Смерть мужьям», не знаю, живы ли ещё старожилы, которые могут это подтвердить. Разумеется, это было неофициальное название магазина – ателье трикотажа, в то время исключительно редкого материала. Помню, как приехавшая к нам в гости из Москвы мамина двоюродная сестра Елена Ивановна – за глаза мама и мы все называли её Ленка Полосина заказала в «Смерти мужьям» (надо сказать, что Л.П. была в те годы ещё не замужем) несколько платьев одного фасона, но разных цветов с вышивкой. На синем платье вышивка была выполнена серебряной нитью, на красном – золотой. И фасон был самый соблазнительный – облегающий лиф и прилегающая в бедрах, но расклёшенная книзу юбка.

Возможно, именно эти платья помогли ей вскорости выйти замуж за прекрасного человека Вячеслава Ивановича Стрельцова. Он тогда только что вернулся из лагерей, а с Еленой Ивановной они были знакомы семьями. Это я все к тому, что и в конце сороковых в Ленинграде женщины следили за модой и стремились красиво одеваться, пишу в пылу полемики с теми, кто долдонит

сейчас с экрана телевизора, что при советской власти все были одеты однообразно и некрасиво.

Мама в те годы платьев не заказывала – она их шила сама. Собственно науку эту она освоила ещё с юности, причем не от своей мамы, довольно к нарядам равнодушной. Скорее от своей тётушки, младшей сестры бабушки Веры, разница с которой у мамы не превышала семнадцати лет. Но в эти годы в Ленинграде мамочка решила поднять свою квалификацию – она пошла на двухгодичные курсы кройки и шитья, достаточно серьёзные, по окончании которых выдавался вполне профессиональный диплом.

Так вот, мама не просто окончила эти курсы на «отлично»; сшитое ею платье (и не одно!) забрали на выставку, которая как раз и располагалась в этом самом магазине «Смерть мужьям». Самое знаменитое из них было из чёрного креп-сатина – это был такой натуральный двусторонний шёлк, мама сшила платье на блестящую сторону материи, отделкой служила матовая сторона материи. Так, блестящая зауженная юбка прикрывалась матовой длинной баской из двух запахивающихся снизу закруглённых пол; выше, на талии, блестящий корсаж, застёгивающийся на пуговицы – молний не было и в помине, а лиф с длинными рукавами на манжетах, тоже сшитый на матовую сторону материала, был обильно и многодельно украшен блестящей тесьмой. Эти тонкие рукавицы, из которых от плеча до талии были выложены узоры в виде петелек, выворачивались с моей помощью, чем я тогда очень гордилась: нужны были тонкие пальчики для такой нудной работы. Вот просто устала описывать все изыски фасона, а каково было мамочке всё это воплотить взаправду (как говорили дети тогда).

Зато платье это несколько месяцев висело на выставке, подготовленной к окончанию учебного года на курсах кройки и шитья из работ выпускниц. К слову сказать, это платье я надевала в Минске на свой первый юбилей, 50 лет – в доме актёра, на горушке, где располагался знаменитый бар «Мутнае вока». Оно было мне

великовато в талии, пришлось слегка пришпилить корсаж булавкой.

Следующий раз его достали уже на мамины похороны – это я настояла, вместо заготовленного самой мамочкой на этот именно случай сиреневого в цветочки крепдешинового костюмчика, который, к слову сказать, она тоже сшила сама. Мама в том самом чёрном платье лежала, похожая на грузинскую княжну: строгая и по новому, по-прежнему красивая.

Вот какой неожиданно выписался зигзаг: от «за здравие» сюжет незаметно скатывается в «за упокой».

Но вернемся скорее в Ленинград конца сороковых. Помню детской памятью два необычно прекрасных маминых платья из японского натурального шёлка; одно было ярким, цвета чистые: алый, ярко-голубой, золотистый и белый, сплетённые в один сложный узор. Второе – чёрное с розовой каймой из кубиков через каждые полметра. Немного истории – дядя Саша, мамин младший брат, служил на Дальнем Востоке, и возвращаясь домой, в Москву, вёз несколько кимоно, кажется, для жены офицера, под командой которого служил – сам он был ещё не женат. Он заехал к нам в Ленинград, чтобы увидеть любимую сестру, и меня, её дочь, за время его отсутствия родившуюся, однако не удержался, показал маме эти кимоно, строго говоря, ему не принадлежащие. А мамочка в два из них просто вцепилась, и заставила брата ей их отдать. Так, с моей теперешней точки зрения это не очень этичный поступок, но трофей – он и есть трофей, сам по себе не самый моральный поступок, и ведь мамочка забрала не все кимоно, которые дядя Саша вёз.

Но платья получились сказочной красоты, вернее, мама в них увиделась мне настоящей красавицей. Гладкие, блестящие чёрные волосы на прямой пробор и низко подобранные косы – только настоящая красота выдерживает такую, без ухищрения, причёску. Помню, как она их примеряла, но не помню ни одного выхода «в свет», и лоскутков тоже не нашлось потом ни в одном

из бесконечных узлов с тряпками, которые до сих пор хранятся на даче...

В те годы мама ещё занималась пением – один раз мне довелось присутствовать на уроке, это происходило не дома, помню учительницу, седовласую полную даму, и романс, который мама пела тогда... ещё чуть-чуть и вспомню. То ли «Мы на лодочке катались, золотисто-золотой», то ли «Плыви, мой чёлн, по воле волн». Нет, это был романс ещё более болезненно-романтический, всегда была очень восприимчива к подобным сюжетам. Но у нас дома, когда мы переехали с Университетской набережной на улицу Петра Лаврова и у родителей по праздничным вечерам собирались гости, мама как-то пела «По Дону гуляет», с маленькой Наташей (мы с ней уже укладывались спать в нашей детской на другом конце квартиры через длинный коридор) случился настоящий припадок. Она громко зарыдала, выкрикивая: «Не пей, не пей!..» И долго мама имела на неё за это зубец, хотя Наташа, повзрослев, объясняла: так сильно на неё это пение действовало, что вытерпеть было просто невозможно...

Но не только взрослые собирались по праздникам в нашей квартире на Петра Лаврова: мама мастерски умела и любила устраивать детские праздники. Приглашались дети друзей папы и мамы, не из школы – сознательно или подсознательно частную жизнь взрослые старались оставлять в тени. Среди приглашенных в разные годы у нас бывали: Игорь, сын маминой приятельницы Анны Григорьевны Романковой, Ириська и Фёдор – дети маминой ещё школьной подруги Ирины Развенчук, почти ровесники со мной и сестрёнкой соответственно, один раз был ещё сын нашей учительницы музыки Лёнечка, 16-ти лет, который на нас, малышню, ноль внимания, а как я потом поняла – волочился за мамой.

И его трудно было за это упрекнуть – она действительно на этих вечерах блистала не только красотой, но изобретательностью, юмором, артистизмом. Играли в шарады, как и взрослые, но главным развлечением для

гостей был кукольный театр на столе в детской. Это было моё царство – в то время, когда я уже посещала исторический кружок в Эрмитаже, все пупсы, окутанные светло-зелёной кисеёй, изображали персонажей из греческой мифологии. Несколько лет назад Федя Каплан, совсем взрослый, заматерелый мужчина, при разговоре с сестрой признался, что ни один театр во всей его дальнейшей жизни не поразил его воображение так, как тот самый, на столе у нас в детской...

Но мама в Ленинграде занималась не только шитьём и пением – она ещё успела окончить там трёхгодичные курсы английского языка, и до последних лет жизни действительно знала его гораздо основательнее папы и всех детей, только внуки, вернее, внучка её в знании английского сумела превзойти! Папа уже нацелился на переезд в Белоруссию, когда мама заканчивала курсы по изучению английского языка; помню, как она летела на самолёте из Минска, с которым папа её знакомил, на выпускной экзамен, где она делала доклад о мистере Рочестере. Это мне запомнилось, потому что сюжет романа «Джен Эйр» я впервые услышала в её пересказе, позднее ни сам прочитанный в старших классах роман, ни его многочисленные экранизации меня не волновали так сильно. Короткие скетчи английского юмора, которые мама пересказывала дома после занятий, помогали мне завоевывать авторитет в школе, на переменках.

Возможно, несмотря на сырость в квартире, такую сильную, что обои отставали от стен, из-за которой часто болела сестра, жизнь на улице Петра Лаврова была одним из счастливых этапов для мамы, а для меня уж точно, но не обо мне речь. В 85 году, когда я пришла работать в благословенный Институт литературы имени Янки Купалы, Олечка Деконская поведала, что в её студенческие годы, практически совпадающие с моими, мама и папа мои выиграли конкурс на самую красивую пару в Минске. Конечно же, конкурс неофициальный, скорее просто устный опрос, который проводили все пять лет учёбы студенты филфака БГУ.



То есть в Минске ситуация изменилась: если в Ленинграде всем было очевидно, что у молодого способного профессора красавица жена, папа даже на работу не давал маме устроиться из ревности, то в Минске по общему впечатлению появилась именно красивая пара. И уже от папиных пассий было не спастись – новая для мамы ситуация. Однако простодушие (и осторожность!) отца сыграли свою положительную роль – он начинал ухаживать или, как говорили тогда, волочиться за той самой женщиной у всех на глазах; дальше этого публичного ухаживания дело не шло. И мамочка могла себе позволить замечания при нас: мол, лучше бы изменял, а не позорил её прилюдно. Сцены на эту тему участились в последние годы жизни в Минске, то есть в конце шестидесятых годов. А мама на излёте возможностей родила себе любимого сыночка, на неё именно похожего, в отличие от меня и сестры, чисто папиных дочек. Сама мама говорила, что брат похож на её отца, инженера-железнодорожника, расстрелянного в 22 году по делу о смоленских церковниках.

Когда мой братишка вырос, он и правда был один в один сходен с фотографией деда. Но мамочка всё-таки оставалась красавицей – и когда бабушкой стала, от чего совсем не была в восторге. Но зато как раз в эти, последние годы в Минске мама устроилась на работу в академический Институт геологии по своей дипломной специальности гидрогеолога. И совсем недолго мы с мамочкой работали рядом, в академическом городке, и даже встречались иногда во время обеденного перерыва. Бывало, я приходила к ней ранее назначенного срока и наблюдала, как кокетливо она беседовала с одним из сотрудников, с Кудельским, кажется. Вижу прямо картинку: она в осеннем тёмно-рябиновом костюме из плотного рыхлого сукна, склонив набок голову в оранжевом замшевом берете, слушает его. Мы недолго работали рядом – мама в Институте геологии у Козлова, я в папином ещё Институте генетики. В обеденный перерыв я за ней заходила и мы шли вместе «прошвырнуться»,

прежде чем зайти выпить кофе, обязательно обходили целый ряд магазинчиков по правой стороне проспекта Скорины, как и все особы женского пола, работающие в Академии. Прямо клуб по интересам: а что сегодня выбросили в обувном? Нет ли новинок в отделе белья в «Синтетике»? Если погода позволяла, то доходили до «Тысячи мелочей», уже на другой стороне проспекта. Эти прогулки в обеденное время составляли едва ли не основную прелесть работы в академических институтах.

Но главным соблазном в этих пробежках был, конечно же, отдел тканей в длинном универмаге, который протянулся чуть ли не на весь квартал. Как же волновали расцветки тканей женские души, и не только в магазине – в каждой почти семье имелся свой узел с тряпками, куда собирались лоскутки от всех платьев, сшитых за жизнь! А ведь шили тогда все сами, по крайней мере среди моих подруг и знакомых. Швейная машинка – главное семейное сокровище; у мамы была вполне в рабочем состоянии ещё бабушкина машинка «Veritas», я купила белорусскую ручную машинку, на которой многое сшила, пока однажды Олег, пытаясь её починить, ударом кулака не сломал ось.

Одно из любимых маминых изречений, особенно в последние годы, было такое: «Всякая независимость начинается с независимости материальной». И мою диссертацию считала компенсацией несостоявшейся своей. История маминей несостоявшейся собственной такова: в 1943 году мама вернулась из эвакуации со мной, девятилетней, в Москву, в арбатскую комнату, и поручила уход за ребёнком свободной на тот момент тётушке Анне; затем ухитрилась поступить в аспирантуру по гидрогеологии и успешно сдала кандидатские минимумы. Но чуть более чем через год папа был избран заведующим лаборатории ЛГУ, и мама пришла забирать свою трудовую книжку из отдела аспирантуры в Москве. Ей вернули её с записью: «Отчислить как не справившуюся». До конца жизни эта формулировка травмировала её, мне даже странно было, насколько это её задело. И

она очень настойчиво следила, чтобы я довела до защиты свою диссертацию по биофизике, хотя только что родила дочку, всё протекало не слишком благополучно, и к моменту защиты здоровье маленькой Тани еле-еле наладилось. Но мамочка сама приходила посидеть с ней на целый день, чтобы я могла подготовиться к защите, сразу после которой резко перестала мне помогать. Тем не менее, надо отдать должное маминой настойчивости: именно эта диссертация кормит меня до сих пор.

Но диссертация это так, внешнее подтверждение жизненного успеха в той сугубо научной среде, к которой принадлежала наша семья. С детства у мамы была своя мечта (кроме желания стать модельером одежды, которое появилось у неё в юные годы): это было страстное желание писать. Ещё в школьные годы мама неоднократно посылала заметки в тогдашний журнал «Пионер», правда, из них опубликовали только одну. Но всю жизнь, каждый день она вела дневниковые записи, ничто не могло ей помешать – самодисциплина у неё была потрясающая! А как она любила и умела писать письма – у меня хранится огромный чемодан маминых писем, особенно интенсивной была у нас с ней переписка в те годы, когда родители переехали в Москву и мы не имели возможности видеться регулярно.

Именно в эти годы мама смогла, наконец, реализовать свой писательский дар – дети выросли, хлопоты по хозяйству, конечно же, забирали много сил и времени, но голова оставалась свободной, и мама начала писать свои воспоминания! Правда, большая часть их окончательного записана была в академическом санатории «Узкое», куда родители регулярно отправлялись на Новый год и последующие школьные каникулы, так у них было заведено. Писала она, естественно, от руки, я тогда ещё жила в Минске и относила перепечатывать мамины записи секретарше «Немана» Татьяне Семёновне, на старой, пожелтевшей бумаге. Потом с этой перепечатки мы их легко набрали на компьютере, когда появилась возможность издать мамину книжку типографским путём за свой счёт.

Благодарить за это надо прежде всего моего лучшего друга, однокурсника по Литературному институту Валерия Шашина: это он предложил, перечитал и отобрал тексты, только те, что ему понравились, снабдил рукопись принесёнными мною фотографиями и довёл дело до настоящей книжки в твёрдом переплёте. Я ещё думала вручить её мамочке к Новому 2008 году, но Таня настояла отдать ей подарок немедленно. И правильно сделала – 29 декабря 2007 мамочки не стало. Книжка была зажата в уже заостеневшей руке, когда мы обнаружили её тело после внезапного ночного инсульта. Мама не только успела её подержать в руках, но и внимательно прочитала, указав опечатки. Но главное замечание было не по тексту – мама сердилась, что из двух фотографий с их с папой свадьбы мы выбрали не ту, где она, с её точки зрения, вышла более удачно. Всё-таки в первую очередь она была настоящей красавицей!

Книга «Страницы воспоминаний» Татьяны Залеской (мама никогда не меняла свою девичью фамилию) пользовалась среди тех, кто книгу эту прочитал, исключительным успехом, многие спрашивали, есть ли продолжение, и были очень разочарованы его отсутствием; также она была помещена на сайте <http://web-bib.ru> (Библиотека Профессиональных Писателей), созданном всё тем же Валерочкой Шашиным, вскоре безвременно ушедшим летом 2010.

Жаль, что книжку издать удалось так поздно, потому что известная недосказанность, недоовощённость мучили её всю жизнь: когда Оля Деконская подарила мне книжку «Записки бабушки», изданную в серии «Литпамятники», я привезла её маме на дачу. Не помню другого такого яркого проявления гнева; мама бросила книгу на пол, восклицая: «Тоже мне, писательница! Да я в сто раз лучше могу написать, были бы издатели!» Напомню, что произошло это где-то в середине девяностых, когда не было никакой возможности издать что-то за собственный счёт, да и денег откровенно не было...

У мамы был действительно взрывной темперамент, какие сцены ревности она закатывала папе: с хлопанием дверями, уходами из дома! В Ленинграде мне, слушавшей эти крики через стенку, всегда было страшно, что теперь мама уйдёт навсегда. Вспоминая это время, написались стихи:

Смотрю на юный твой портрет:  
Как трепетны черты!  
Неизъяснимый этот свет  
И тайны, и мечты.

Излом бровей и нежный рот –  
Трагический контраст.  
Как будто знает наперёд –  
Поблажек век не даст.

Был тесен дом, и взгляд тосклив  
Порой – манила высь,  
Расправишь крылья – вся порыв,  
Мы, дети в крик: «Вернись!»

Но завещала дочерям  
По пёрышку из крыл...  
Высоко ли взлетелось нам?  
Надолго ль хватит сил?

Но говоря о маме, о последних годах её, нельзя не рассказать ещё и вот о чём: в Москве, в квартире на Тверской, мы отмечаем её день рождения 6 сентября, году этак в 2001-2002, собрались гости – скорее всего, кроме нас, детей и внуков, было ещё семейство дяди Саши. И как это часто бывает – только налили шампанское в бокалы, как зазвонил телефон. Я сняла трубку, намереваясь быстрее закончить разговор с не вовремя позвонившим поздравителем, но услышала властный мужской голос: «Татьяну Владимировну, пожалуйста!», а на вопрос, кто говорит, кратко ответил: «Солженицын. Александр Исаевич». Конечно, я тут же стала кричать:

«Мама, мама! Солженицын!». Вот это был сюрприз – все приумолкли, мама стала говорить достаточно спокойно, взвешенно. Несколько месяцев назад она написала известному всему миру писателю письмо, где спрашивала, как можно прочитать его роман «Красное колесо», мотивировав свою просьбу тем, что они практически ровесники, и назвала точную дату рождения. Вот он ей именно в день рожденья и позвонил, предложил брать с возвратом по одному тому романа в его служебной квартире, недалеко от нашего дома (прочитав обратный адрес на конверте). Именно мне выпала честь связаться с сотрудницей этого филиала Мунирой, приятной молодой особой, и мне выдавались без всяких документов и расписок все пять томов один за другим.

Надо сказать, что читала мама на редкость добросовестно, как и всё, что она делала: шила не только с выдумкой, элегантно, но и добротнo по выделке, чем не грешили её дочери, особенно ваша покорная слуга. Про основательность изучения английского языка я уже упоминала. Так же и читала всё, за что бралась: подчёркивала опечатки карандашом, особенно ценно это было при чтении моих книг и опусов, всегда скороспелых и недоделанных, и всегда дочитывала начатое до конца. Подобная добросовестность и тщательность вообще свойственны тем, кто родился под знаком Девы по гороскопу, знаю это и по своей дочери. Так вот, роман Солженицына «Красное колесо» мама читала, обложившись томами словаря Даля из семейного книжного шкафа: она следила по картам за продвижением войск, или ещё что-то уточняла. Не думаю, что кто-нибудь ещё так внимательно вчитывался в текст романа! А Мунира мне без лишних слов выдавала том за томом. Так что мама была не только красавицей, и потому часто испытывала раздражение, депрессию, вызванную невостребованностью всех заложенных Господом способностей и талантов. Хотя внешне её жизнь была более чем благополучной – на фоне многих и многих её ровесников и ровесниц. Талант требует выхода, к счастью, в конце жизни хотя бы

частично, но её писательский талант не только воплотился, но и нашёл признание. Увы, только в самом, самом конце жизни.

Да, нельзя не упомянуть хотя бы, что мамочка была заядлой спортсменкой – в своё время сдала все нормы ГТО, играла в волейбол в университетском спортивном зале, когда мы жили в Минске, и папу втянула в так называемый профессорский волейбол. С ними одновременно играл и Алесь Адамович; мама накидывала ему пас, чтобы он мог погасить мяч.

И с музыкой у неё были особые отношения: в школьные годы, ещё в Голицыне, ходила к учительнице музыки по фамилии Колобова; в годы нашего детства по маминому настоянию мы с сестрой тоже учились музыке с учительницей. Так, в Ленинграде к нам приходила темноволосая, яркая Тереза Константиновна Дороган, в Минске я ходила через парк Горького к Наталье Михайловне Пукст, жене известного композитора. Позднее моя Таня в этот же дом к её дочери Нине Григорьевне.

Мама втянула папу в регулярные посещения концертов в Белорусской консерватории, это считалось «хорошим тоном» в среде культурной верхушки Минска (хочу изо всех сил избежать слова «элита», которое так и вертится на языке): там встречались знакомые, прогуливались наряды, курсировали слухи. Результатом этих посещений было то, что папу включили в общественный совет при недавно построенной филармонии. Мама иронизировала, папа недоумевал: он неоднократно сетовал, что у него отсутствует музыкальный слух, в отличие от его отца, обладавшего абсолютным слухом...

В семье мамы музыкой так или иначе занимались все, а её старший брат Фёдор Владимирович даже собирался продолжать обучение в консерватории по классу фортепиано; не получилось. Но и после почти десятилетнего пребывания в местах не столь отдалённых продолжал играть на пианино великолепно, я слышала его в конце шестидесятых – начале семидесятых, сам он иронизировал о своей игре: «Нетвёрдо, но с большим

чувством». И сама мама, и её братья были очень артистичны, с выразительной, очень живой мимикой, ценили острое словцо, вот некоторые из них: жидкий кофе – «брандахлыст», короткий жакетик – «полупердончик»...

Но всё-таки сознание женской привлекательности не покидало её почти до самого конца: однажды в лифте нашего дома 9 на Тверской она обратилась вполне кокетливо к вошедшему за нами в кабину Олегу Ефремову, который жил в этом же подъезде двумя этажами ниже: «Здравствуйте, Польшин!». Избалованный вниманием артист её игривую реплику не поддержал, мама заметно завяла.

Напоследок необходимо отметить: до последних не лет даже, а дней жалела, что папа в семидесятом году перевёз семью в Москву – так комфортно, так радостно ей жилось в Белоруссии. Первым местом, куда мы поехали летом 1955 года, ещё не переехав в Минск, на городскую квартиру, было озеро Нарочь. Папа умел проводить презентации! Это красивейшее место в республике он выбрал для знакомства семьи с Белоруссией – и до самых последних дней моих родителей пребывание там вспоминалось как сплошное безоблачное счастье. Там, в деревне Степенёво, как-то сразу сложился круг хороших знакомых – преподавателей минских вузов, и подружил их всех волейбол! Мне кажется, папа тогда играл в него впервые, он всё норовил один играть на площадке, не сильно рассчитывая на партнёров. Дело в том, что у себя в Великодворье, в детстве, он успешно играл в футбол в качестве вратаря, то есть единолично в воротах защищался от команды соперников. А вот мама просто заново оттачивала навыки, полученные в студенческие года – ей сродни был командный дух игры, и потому уже в Минске была застрельщицей того, преподавательского волейбола в университете. Она любила Минск, он казался ей лучшим городом для жизни, как среда обитания, но более всего любила конечно же благословенную Крыжовку, где воплотилась её детская мечта: жить на



земле в своем доме (в Голицыно, где прошли её детские годы, дом был поделен между родственниками, а это всегда чревато конфликтами, как убедились мы, её дети, между которыми сейчас поделен этот построенный папой дом).

Мама прожила в Москве молодость, здесь жили на момент её переезда обратно оставшиеся в живых родственники: два брата с семьями, тётушки, двоюродные сёстры, и несмотря на то, а может быть – именно поэтому (мама очень любила этот оборот, часто употребляемый Львом Николаевичем) она совсем не хотела возвращаться в места своей юности, к прошлому, потому что к зрелым годам обрела ещё один редкий дар – жить сегодняшним днём и радоваться самым обыденным вещам: вкусной еде, интересному фильму по ТВ, красивому наряду внучек. В одной из новогодних открыток Таня, старшая из них, написала: «Спасибо тебе за беспрецедентный пример отношений «Мужчина и женщина», продемонстрированный на практике». Конечно же, осуществить эту сложнейшую из задач могла только настоящая... женщина, что гораздо важнее.

А напоследок неожиданно вспомнилось из детства: до моей школы, летом, в Голицыно, где мы жили с мамой и сестрёнкой у бабушки Веры, мы ходили одно лето вдвоём с мамой в лес за грибами. Сестра была мала, но очень ревнива, и надо было встать чуть ли не на рассвете и тихо-тихо выскользнуть из дома. Собирали в ёлочках, возле Минского шоссе – далеко не уходили, но когда возвращались, разбирали корзиночку, и самые красивые грибы – более всего боровички – мама зарисовывала в специальный маленький альбомчик, предварительно придав им по возможности живописный вид, для чего прихватывала из леса кусочки мха, шишки, листики... К сожалению, альбомчик этот не сохранился, но главное – она учила нас, её детей, с детства замечать красоту, любоваться ею и по возможности пытаться запечатлеть.

У меня над кроватью висит в рамочке зимний лес, один из трёх рисунков, написанных мамой лет в четы-

рнадцать, когда она жила в Голицыно круглый год: на нём изображены на первом плане две берёзы и санный путь на снегу, а вдалеке заснеженный лес. Снег слегка розоватый, раньше мне казалось – рассветный, а теперь думаю – нет, это на маминой ранней картине запечатлён закат.

Она присела на диван,  
Склонясь над грудой лоскутков,  
И жизни прожитый роман  
По ним читала как по строчкам.

Пленяет глаз зелёный цвет,  
Когда он был любимцем моды?  
Так собираются в сюжет  
Разрозненные эпизоды.

Вот примечательный узор –  
Сам синий, поле голубое...  
Немой ведётся разговор  
С овеществлённою судьбою.

Немного с возрастом утех,  
И лучшая – на ткани глядя,  
Мгновенно вспомнить свой успех  
В том крепдешиновом наряде.

Немые на сторонний взгляд,  
Кусочки шелка или шерсти  
В душе мгновенно воскресят  
Событья, жгучие до смерти.

Мировоззренческий вопрос:  
Ты в чём? – материя первична.  
О, сколько радости и слёз  
Нашла она в узле тряпичном!

## *На Театральной площади, у памятника Пушкину*

А в Петербурге майском – ах!  
Сирени в слипшихся цветах,  
Как и когда-то, ночью белой.  
Дал обещанье – жизнь назад:  
Приду – пусть будет камнепад! –  
Я не дождалась, не сумела...

После четвёртого курса на физфаке случилось массовое паломничество в Ленинград. Ехали группами и поодиночке, не сговариваясь, и наоборот, договариваясь предварительно о встрече, как мы с Геночкой Новицким. Ехали порознь. Майским сиреневым днём мы стояли возле моего подъезда, у дома на углу улицы Янки Купалы и Карла Маркса; было назначено число и час встречи в Ленинграде, оставалось назвать место.

Гена знал, что детство и ранние школьные годы я провела в Ленинграде, более десяти лет в этом городе прожила, естественно было думать, что знаю город лучше, чем он. И я назначила встречу: на Театральной площади, у памятника Пушкину. Это было роковой ошибкой, жизнь могла бы развернуться по другому сценарию – я назначила неправильное место встречи, потому что на Театральной площади расположилась знаменитая Мари-

инка, Большой оперный театр, в то время имени Кирова. А памятник Пушкину – юный поэт в непринуждённой позе сидит на чугунной скамейке посередине сквера на площади Искусств: с одной стороны Русский музей, с другой – Малый оперный театр, в который, пока мы жили в Ленинграде, у нас был абонемент.

Гену Новицкого «вприглядку» я помнила со школы – он учился в четвёртой, бывшей мужской школе на улице Красноармейской, а я во второй, бывшей женской, на улице Энгельса. К нам в шестом классе перевели от них всех нежелательных учеников: хулиганов, двоечников (диссидентов тогда ещё не было), будущий криминальный элемент. А к ним ушли самые умные девочки, в том числе моя подруга Алла Дешковская. Школы наши были почти рядом, и мы не только знали друг друга с виду, но и по именам, потому на курсе Геночка повёл себя сразу как старый знакомый, без церемоний – как говаривали в старину. Уже на первом курсе, когда мы с Ларисой развили бурную деятельность по скоростному знакомству с мужским большинством курса, Геночка оказался, пожалуй, единственным, кто сам интересовался нами, то есть был не объектом, а субъектом, смотрел с пониманием на наши манёвры, и, когда я пробегала мимо, громко восклицал, одобрительно прищёлкивая пальцами: «Однако какие ножки!» Честно говоря, я тогда была уверена, что издевается.

Он умел дружить с девочками – особый дар, кроме Гены, никто из моих знакомых юношей этим завидным свойством не обладал. Для дружбы необходимо внимание и понимание, понимание даже важнее, а для него круг женских интересов был вполне привлекателен: замечал ежедневно, кто как одет, и ставил отметки, то есть вёл собственный устный журнал на манер раздела «Полиция моды», который печатается сейчас в журнале «МК-бульвар». И вполне мог бы заменить в передаче «Модный приговор» Александра Васильева. Мне он говорил: «Ты, Любка, одеваться совсем не умеешь», и, после длинной паузы: «Когда мы поженимся, я всё буду по-

купать тебе сам. Даже бельё». Это говорилось курсе на третьем, когда мы оказались в одной группе оптиков, и у нас уже устоялась привычка идти вместе домой после лекций, точнее сказать – это он меня провожал, потому что ему было точно в противоположную сторону.

Неторопливые прогулки по Минску повторялись регулярно, чаще всего по главной улице, носящей тогда имя проспекта Ленина, с непременно заходом в магазин подписных изданий – возможно, эти прогулки и были самым лучшим за годы учёбы на физфаке. Там однажды познакомилась я со Славой Боровым, который помогал на приёмке книг в букинистическом отделе; Гена наблюдал за нашим разговором издали и, когда мы распрощались, назвал фамилию Славы и сказал, что его отец – верховный представитель РПЦ (тогда ещё не было принято такое сокращение) во всемирном Совете церквей в Женеве.

Короче, он знал всё обо всех – естественно, из существовавшего на тот момент в Минске «высшего света», издавал, можно сказать, устный журнал «Сноб», был его главным редактором (жаль, что журнал этот ещё не выходил тогда)... Мы так и называли его – снобом, иронически; как показало время – ирония здесь совершенно неуместна. Свою общественную значимость он позиционировал таким образом – когда к папе в Институт генетики и цитологии поступала его соседка и однофамилица Майя Новицкая, Гена через меня пытался предупредить маму о том, что новая аспирантка недавно в разводе и потому особенно опасна, называя её «самой красивой и самой развратной женщиной Минска». После такого пиара при встрече я была абсолютно разочарована её внешностью. Папе мы, естественно ничего не сказали, только спросили: «Как она тебе показалась?» Папа в это время фанатично и старательно учил английский язык, на наш вопрос ответил странно: «Не понимаю, почему она ушла от мужа? Ведь он так хорошо знает английский язык!» Бывший муж Майки был дипломатом, они жили в одном доме с нашим другом Геной Новицким – в

красном кирпичном доме дипломатов, на первом этаже которого располагался привилегированный продовольственный магазин и числился 1-ым по улице Вторая Советская. Был этот дом виден практически из любого окна главного корпуса физического факультета, на площади напротив Дома Правительства, там, где позднее выросло здание пединститута им. Максима Танка.

Мне не вспомнить теперь, когда дом Гены Новицкого снесли, позднее он жил в новом доме, на улице Немига. Но главные события в наших с Геней отношениях происходили тогда, пока он жил ещё в том кирпичном доме на площади, которая позднее обрела гордое имя Плац Незалежнасци. Когда наступили новые времена, именно Геннадий Новицкий сумел вписаться в предлагаемые координаты бытия, добиться денег и положения, используя образование, полученное на физфаке, не отворачиваясь и от иных сторон жизни. Хотя особенно способным к физике на нашем курсе он не считался, в отличие от тех наших сокурсников, которых оставляли в аспирантуре, они продолжают и сейчас преподавать в БГУ, уже профессорами и доцентами.

Но вернёмся к несостоявшемуся свиданию в Ленинграде – именно в тот раз впервые мелькнула мысль о том, что судьба играет против нас и не даёт соединиться, хотя, казалось бы, мы подходили друг другу по многим пунктам. И, в отличие от моих предыдущих увлечений, не я бегала за ним, а он наметил меня с самого начала первого курса и как-то не принимал всерьёз мои предыдущие романы, хотя был их свидетелем. И вот к середине третьего курса с этими экспресс-романами было покончено; Гена почти каждый день провожает меня после лекций; однажды весной, стоя перед входом в подъезд того самого дома на углу Янки Купалы и Карла Маркса, произносит с пафосом: «Я буду тебя ждать, даже если с неба будут падать камни!» Мы только что договорились о месте будущей встречи в Ленинграде, и я, почти придавленная звучанием этой самой необычной в моей жизни фразы, не подстраховалась и не записала телефо-

ны, по которым мы собирались в городе моего детства остановиться.

На площади, около памятника Пушкину – я помню этот ясный солнечный день в конце мая, скверик, в котором молодой задумчивый Пушкин сидит на скамье среди кустов густо цветущей сирени, стою посередине и с нетерпением оглядываюсь по сторонам – где же он? Обзор во все четыре стороны великолепный: вот Малый оперный театр по правую руку, если стоять лицом к Невскому проспекту, а за спиной – Русский музей, а за ним парадная набережная с державным течением Невы, самый хрестоматийный пейзаж и тогдашнего Ленинграда, и нынешнего Петербурга. После пятнадцатиминутного ожидания досада и нетерпенье охватывают меня, я нервно хожу по крошечному скверу, оглядываясь по сторонам: неясно, с какой стороны он должен появиться. И вдруг вижу на подходе к Русскому музею знакомые силуэты – увы, это не Гена Новицкий, а только его тёзка Геночка Синяков и Роман Червонцев, тоже наши однокурсники и коллеги по «Архимеду», успешная премьера которого состоялась как раз в этом феврале.

Я знала, что они тоже едут в Питер, но совсем не интересовалась, куда собираются сходить и где бы мы могли встретиться. Но именно с ними встретилась, и как раз на том месте, которое выбрала сама.

Прошло уже более получаса моего тревожного ожидания, и неясно было, куда теперь идти и чем заняться, а тут судьба подкидывает вполне приемлемый вариант: провести время с друзьями-однокурсниками. И окликнула их, они отозвались, мы вместе отправились в сторону Эрмитажа, я старалась не думать о несостоявшемся свидании с Новицким, о том, что он сейчас бродит где-то по моему любимому городу, по местам детства, которые я мечтала ему показать... Вернулась в Минск из той поездки я гораздо раньше, чем собиралась; билет удалось поменять почти без потерь.

Как оказалось позднее, мне оставалось дожидаться Гену чуть более пяти минут – не встретив меня на ука-



занном месте после получасового ожидания, он спросил кого-то, как называется эта площадь, сообразил, что скорее всего я жду его на совсем другой площади, взял такси и примчался к юному Пушкину на скамье. Только, увы, меня там уже не было. Так судьба первый раз не дала нам с Геной Новицким шанс сблизиться – в майском сиреневом Ленинграде это бы обязательно произошло.

Второе неудачное свиданье случилось уже зимой, в середине четвёртого курса: мы вместе встречали Новый год, и, как показала дальнейшая жизнь, это была самая необычная встреча. По метеосводкам можно восстановить и сейчас, сколько градусов мороза показывал термометр 31 декабря 1963 года; мне кажется, не менее –25.

Гена продумал эту встречу во всех подробностях, чуть ли не за два месяца заранее: у нас будет особенная встреча, не как у всех. Кстати, ядро курса, общая наша компания (уже давно для обозначения аналогичного сборища употребляется слово «тусовка», тогда ещё неизвестное) собиралась у Тани Шаговой, в районе Академии наук.

Это был подстраховочный вариант, к сожалению, мы им не воспользовались.

Удивительно, но в университете был настоящий новогодний вечер, с которого я ушла около одиннадцати, чтобы встретиться с Геной около старого физфака. По дороге к месту встречи – а вечер проходил в здании химфака – ко мне бросился Женька Вадковский с огромным плюшевым медведем: он давно искал случая помириться. Это было уже после того, как я хлестала его букетом из еловых веток и считала, что всё кончено, а он, оказывается, так вовсе не считал... Я взяла этого нелепого медведя, просто чтобы отвязаться (мой младший брат Вася, будущий врач-уролог, в школьные годы учился на нём делать уколы), потому что увидела маячившую впереди статную фигуру Гены. Евгений тоже увидел его и отстал.

С Геной мы торопливо устремились на троллейбус, доехали до теперешнего старого аэропорта – тогда он был единственным в городе и находился совсем близко от университета. Около здания аэропорта был залит

каток, а посередине на льду стояла высокая наряженная ёлка – так напридумывал Гена, у него с собой была бутылка портвейна, два бумажных стаканчика и сто граммов конфет в газетном кулёчке. С трудом открыв бутылку – ножа у него, разумеется, не было – он разлил вино по стаканчикам.

Они разбухли, пить надо было сразу: не понимаю до сих пор, почему им был выбран именно портвейн, возможно, чтобы легче было открывать. Редкостная гадость – в те юные безденежные времена пили мы обычно всё-таки дешёвое сухое. Зажевали портвейн конфетой. Не помню, как мы синхронизировали время, возможно, на катке звучало радио. Но главное – был страшный мороз. Как уже было сказано, это был чуть ли не самый сильный мороз на Новый год в XX веке и самый злой за мою уже достаточно протяжённую жизнь.

Сегодня, в момент написания этого текста, мороз на улице –20 градусов, возможно, именно постоянное чувство холода на улице – скорей бы добежать до дома, а в квартире тоже никак не согреться – подвигло на это воспоминание. Вода замерзала по мере вытекания из уличных колонок; так, когда мы с Геной пытались напиться, это никак не удавалось (и поцеловаться тоже – казалось, что губы примёрзнут). А ведь после отвратного портвейна страшно хотелось пить. Уже пятнадцать минут Нового года чувство взаимного раздражения нарастало с ускорением; вяло перекинувшись соображениями, не поехать ли к Танюше Ш. (думаю, мы оба представили, какими насмешками встретят нас однокурсники), мы с облегчением отправились по домам. У нас дома был в гостях дядя Саша с семьёй; чтобы отогреться, я тут же скрылась в ванной. И не заболела.

Не то Гена – несколько дней я ждала его звонка – шла сессия, первый экзамен был не раньше седьмого января. Но позвонил не сам Гена, а его мама, это был наш единственный с ней разговор, её вскоре не стало. Она сразу стала меня упрекать – как можно было согласиться с дурацким планом её сына, вообще склонного оригиналь-

ничать – у меня что, своей головы нет? «И вот теперь мой неудальй сын лежит с жутким приступом печени, не может совершенно заниматься, и даже неизвестно, как будет сессию сдавать». Что я могла ответить? На некоторое время Гена из моей жизни исчез, однако экзамены мы как-то сдали, потому что, как говаривал светлой памяти академик Степанов Борис Иванович, на четвёртом курсе выгоднее нерадивого студента не выгонять, а доучить и направить в работы.

Гену я помню уже на вечере то ли 23-го февраля, то ли 8-го марта; он танцевал с Леночкой Ксенофоновой и лишь холодно мне кивнул издалека. Это был удар наотмашь, но я постаралась на ногах удержаться и приняла ухаживания какого-то сумасшедшего кандидата-биолога, который, зная папу, охотился за мной как за выгодной невестой; даже сделал предложение руки и сердца прямо на этом вечере. Внешне он был вылитый Нэд Скэлтон из романа «Кристина» Памелы Джонсон, очень тогда модного, этим меня и заинтересовал. Кажется, Гену встревожило появление возле меня назойливого поклонника, он даже процедил, проплывая мимо меня и не выпуская Леночку из объятий, что фамилия этого выскочки Лобанов, что приехал он из Харькова и отец его генерал. В том, что мой скоропалительный жених – хронический алкоголик и вообще полный псих, вскорости убедилась сама.

Сразу после защиты диплома Гена женился на своей соседке Ларисе Остапенко, из дипломатической семьи – злые языки говаривали, что женился он преимущественно на тёще. Лариску я видела однажды, когда Гена пришел с ней на премьеру «Архимеда», она показалась мне малоинтересной, обесцвеченной, особенно на фоне мамы, вызывающе некрасивой, эксцентрично одетой, с шиком матерящейся – тогда это было редкостью среди дам из «высшего общества». Её я увидела позднее, не на том вечере, когда Гена публично предъявил предполагаемую невесту курсу.

Я влюбилась в Гену где-то в середине четвёртого курса – однажды взглянула на него, стоящего у доски

в большой физической аудитории и увидела его (вдруг!) необыкновенно красивым. Вообще-то самым красивым юношей на нашем курсе бесменно, с первого курса и до последней встречи бывших однокурсников считался Толик Раптунович – высокий, атлетически сложенный блондин с греческим (по нашим тогдашним представлениям) профилем. Мы с Ларисой заметили его сразу и стали между собой называть Спартак: уже тогда у него была постоянная девушка со второго курса Галя Волузнёва, они были редкостно красивой парой. А Гена... просто я не понимала закон его лица, и потому считала так себе, третий сорт. Он был хорошего роста, в те годы худощав, прямые темные волосы падали косой чёлкой на лицо, а большие зелёные глаза с поволокой напоминали глаза умной птицы; по масти, так сказать, он был мне ближе других.

Прежде увидеть его мешало одно – в жестах его и манерах было нечто женственное: излишняя гибкость, плавность, руки казались бескостными, особенно когда он печатал на машинке в подвале старого физфака, где находилась редакция факультетской стенгазеты, мы с Геночкой там сообща валяли дурака. По представлениям того времени ему не хватало мужественности, этакой брутальности; когда мы шли по безлюдной тогда улочке Островского, где предположительно водились хулиганы, он дурашливо восклицал, хватаясь за мою руку: «Ой, Любка, я боюсь!» Было понятно, что это игра, но меня она раздражала. Из писателей он ценил более других Сомерсета Моэма, как раз в эти годы вышел сборник избранных рассказов «Дождь», книга эта в голубом полосатом переплёте была нарасхват среди моих знакомых. У меня она неоднократно появлялась и пропадала, но снова и снова мне удавалось её купить. Теперь, когда издано неисчислимое множество книжек этого автора, моим любимым стал сборник «Эшенден, британский агент». Думаю, и Гене книга эта очень бы понравилась; его любимым изречением было: «Цинизм облегчает душу». Кстати, вот цитата к случаю из рассказа Моэма

«Его превосходительство»: «Чего ей не хватало, так это грубости, получившей в последнее время распространение в высшем обществе». «Последнее время» – это Англия между двумя мировыми войнами. Судя по Гениной теще, не прошло и полувека, мода эта докатилась и до высшего света славного города Минска, что мне тогда было невдомёк.

К достоинствам Гены, как уже упоминалось, относился его интерес к окружающим: с девчонками, единственный из мальчиков, он мог поболтать о тряпках, о поклонниках и отношениях с родителями. Но легко, как равный с равными, общался и с пожилыми, как нам казалось, однокурсниками – две первые мужские группы состояли из тех, кто прошел армию или флот (а во флоте тогда служили целых четыре года!). Это позже, на картошке, мы с Ларисой Рудовой тоже познакомимся с некоторыми из «старичков» – у неё был друг-поверенный Стас Рекун, у меня поклонником-советчиком состоял Коля Нароленков. А вот Гена, домашний ребенок, пришедший на физфак из школы, со своими женственными манерами был среди них абсолютно своим!

На четвёртом курсе нас последний раз послали на картошку, в деревню Масюковщина, фактически на окраине Минска. В одной избе поселились мы с Ларисой и Гена Новицкий, то есть он числился при нас, но каждый вечер отправлялся ночевать домой, в город, а по утрам появлялся и нас непринуждённо будил. Даже в деревне, в резиновых сапогах и ватнике, выглядел вальяжно, этаким барином: «пахать подано».

Ему принадлежали строки: «Румяная Лора-резвушка сидела с морковкой в руке». Работалось нам в тот последний раз без напряжения, весело. Наверно, эта картошка была самым продолжительным нашим с ним общением, во всяком случае – самым приятным. Этой же осенью нами коллективно была придумана от имени Гены песенка (на мотивчик, тогда популярный: «Городок наш ничего»):

«Раз пришёл я в деканат  
В заграничных запахах  
Даже сам Г.В. Овечкин  
Закачался на ногах.

Закачался и спросил:  
Где такие я купил?  
А я взял – и благородно  
Ему эти подарил.

Комментарии – Г.В.Овечкин, парторг физфака, был озабочен нашим моральным обликом, сам по себе не особенно вредный, но крайне приставучий; как-то на вечере подвёл к Ларисе смущённого солдатака (военная часть была специально приглашена на этот вечер) и сказал ей: «Он хочет с тобой танцевать». По лицу солдатака было видно, что более всего ему хочется провалиться сквозь пол. Лора отказалась, и за это позднее, когда обсуждалась возможность её поездки в Венгрию, Г.В. Овечкин не подписал ей характеристику. Зато теперь она единственная из всего курса живёт постоянно в Бельгии...

Несколько раз Новицкий приезжал к нам на дачу, последний раз – совсем незадолго до моей свадьбы с Константином; моим дачным друзьям, в первую очередь Димке и Сережке Прокопчукам, он понравился гораздо больше, чем окончательный избранник, и они неоднократно Геночку вспоминали.

Кроме того, он умел делать подарки, как никто более из моих тогдашних друзей. Помню, как на день рождения курсе на третьем, которое отмечалось тоже на даче, он преподнёс мне, приветствуя, тёмную длинную коробочку из шелковистого картона (в кино в подобных дарят бриллиантовые кольца!), а в той лежало ожерелье, возможно – чешская бижутерия, тоже настоящая роскошь по тем временам. Но главное – дно футляра было выстлано павлиньими пёрышками! Не помню, когда одевала эти бусы – светлого стекла, прозрачные

шарики чередовались с непрозрачными – но открывать коробочку и любоваться переливами перьев любила долго. Кроме того, долго хранилась, а возможно, цела и сейчас, просто где-то завалившаяся за многие переезды, подаренная им же веточка коралла – маленькая, но очень изящная...

Почему у нас всё разладилось – трудно сказать, как-то по сумме баллов, хотя он ещё водил моего брата Васю на регби (!) и спрашивал меня неожиданно: а твои родители будут общаться с моими на равных? Это были его страхи. Также невзначай однажды он бросил: я не переживу, если жена не принесёт мне невинность. Несколько запоздало его опасение, и это были мои страхи.

Была ещё фраза, которая вспомнилась мне позднее: «Когда мы с тобой поженимся, придётся мне самому заняться продвижением твоих стихов в печать, привлечь нужных людей». Вот такого хозяйского отношения к моему скромному дарованию точно за всю жизнь никто больше не предлагал. И не помогал... Сейчас жалею, что это заявление не послужило сигналом окончательного выбора.

Встретив меня в районе Комаровки, через год после окончания университета, сказал: «Глаза уже не те, много мути появилось». Он был прав – уже год я жила у Кости на Слепянке и чувствовала себя как после электрошокера – совершенно расфокусированной.

Последующие наши встречи – случайные, а также на традиционных встречах, которые он и организовывал, и частично спонсировал – можно пересчитать по пальцам.

Вот ещё одна нестыковка – как-то внизу, в холле того здания на проспекте Машерова, где бессленно располагалась на 12 этаже редакция издательства «Мастацкая литература» (каждый раз после этих визитов мне приходилось некоторое время заново собирать себя по кусочкам) – вдруг рядом оказался Гена и сказал – эх, почему мы не встретились чуть раньше! Оказалось, только-только он сделал предложение Галине, своей второй жене.

О его семейной жизни с Ларисой Остапенко мне периодически рассказывала Наташа Ельяшевич – её муж, мой однокурсник Миша Ксенофонтов, работал с Новицким все эти годы. Жена родила ему двух сыновей, а потом завела роман с молодым аспирантом и уехала с ним в Израиль – в семье, по словам той же Наташи, Гена оказался мужем властным, не терпящим возражений, особенно на людях, потому Лариса и сбежала. После бегства жены старший сын остался с отцом, младшего мать взяла в новую семью. Через некоторое время младшенький сбежал из-за границы обратно в Минск, к папе, без документов – Гена долго ходил по властным коридорам, вызволял беглеца. А потом женился снова, вернее, по тем же источникам, Галина, секретарь отдела, где он работал, проявила активность и женила на себе его, одинокого и состоятельного.

Галина родила ему долгожданную дочку, при очередной случайной встрече Геннадий рассказывал, как он с дочкой сидел в кафе и вошла известная всем в Минске телеведущая Элеонора Езерская, и как они с повзрослевшей уже дочкой подробно обсуждали детали её наряда. Ещё в студенческие годы он был в этих вопросах разносторонне осведомлён.

Но закончить эти записки об однокурснике и многолетнем друге Геннадии Новицком мне хочется незначительным на первый взгляд эпизодом: однажды утром, ранней осенью в начале четвёртого курса, внизу, в фойе главного корпуса я встретила его. У нас намечались по расписанию занятия группой оптиков, но Гена сказал, что всё отменено, мы свободны, и предложил поехать куда-нибудь за город. Погода была мягкая, неяркая, мы поехали на автобусе до конечной остановки в сторону Москвы. Помню редкий пожелтевший лесок и вялую траву под ногами, мы были (так и хочется написать: «в целом мире») совершенно одни.

Мы остановились под тенью большого дерева и повернулись лицом друг к другу, близко-близко; Гена очень неспешно стал растёгивать моё пальто, спрашивая при



этом: в чём ты сегодня? И осторожно коснулся руками груди, обтянутой тонким оливковым джемпером, со словами: «Как же давно мне хотелось сделать это!» Но не поцеловал, как я ожидала, а сразу почти заторопился с возвращением. И мы повернули обратно к конечной остановке пятого автобуса «Зелёный луг».

Позднее узнала (от кого?), что в студенческие годы у Гены была постоянная любовница, взрослая женщина (возможно, та самая Майка, его однофамилица), потому он и не стремился к близости с девчонками-однокурсницами.

Незадолго до моего окончательного переезда в Москву я увидела Гену в храме святой Екатерины, где раньше хранился городской архив, на углу Немиги и проспекта Машерова – увы, мода менять названия улиц настигла Минск. Кажется, он меня не заметил, поставил свечу, молча постоял. Мне было удивительно здесь его встретить, но как-то вдруг поняла, что никогда не знала его глубинно, по-настоящему.

Гены не стало 17 ноября 2002 года, он скончался от сердечного приступа, вскоре после очередной встречи однокурсников, на которую я уже приезжала из Москвы...

И чем дольше живу, тем чаще думаю – как бы повернулась жизнь, если бы дождалась я тогда Гену майским сиреневым утром, на площади около юного Пушкина, сидящего на чугунной скамье, напротив входа в Русский музей?

\* \* \*

Это не усталость, это зрелость,  
Отошли сомненья, зависть, злость,  
Прозвучало то, чего хотелось,  
Более ли, менее сбылось

Главное.

    Стал мир почти прозрачен,  
И как ласка, близко благодать.  
Лишь того, кто был мне предназначен,  
Так и не сумела отгадать...

## *И вспомню я тебя с улыбкой*

Мы познакомились в белорусском Доме Дружбы; до сих пор нетипичный для Минска одноэтажный белый особнячок находится в самом начале улицы Захарова, два шага от станции метро «Площадь Победы». Разумеется, тогда метро не существовало и в мыслях жителей города, количество которых на то время не достигло миллиона – мои одноклассники в дальнейшем внесли значительный вклад в достижение этого заветного рубежа.

В тот день я была в Доме Дружбы впервые: мы учились на третьем курсе и нас уже более-менее знало комсомольское начальство – и когда среди студентов раздавали пригласительные билеты, самым заметным из моих одноклассников выдали их персонально. Да, я забыла сказать, по какому поводу было созвано это мероприятие – в честь приезда кубинских студентов! Это было значительное событие для нас: в начале зимы весёлые смуглые кубинцы появились в новом физическом корпусе на 4-ом этаже, там же, где учились мы. Первоначально они держались монолитной группой и непрерывно ритмично покачивались, подтанцовывали, посмеивались, подпевали – то ли грелись, то ли веселились; увидеть кубинца серьёзным и смирно стоящим было невозможно. Девушки щеголяли белыми парусиновыми брюками из-под тёмного зимнего пальто, мулатки и негритянки

преобладали. Но отнюдь не стремились познакомиться с абorigенами, то есть с нами.

И вот этот вечер, организованный специально для того, чтобы облегчить нам знакомство с кубинцами; после положенных речей в полутёмном зале были объявлены танцы. На этот вечер я пришла в надежде «выяснить отношения» с тем самым нерешительным однокурсником В.К., а он по обыкновению мелькал здесь и там, подходил то к одной, то к другой девушке, но ни с кем не задерживался. Кажется, первый вальс он протанцевал со мной, но только смолкла музыка, исчез. Пока я оглядывалась, рядом возник некто смуглый, с острыми чёрными глазками, коренастый – он легко и ритмично двигался, и поскольку пригласил танцевать жестом, без слов, я решила, что он кубинец. Сомнения внушали только его веснушки, к концу танца поняла свою ошибку, но мой партнёр сумел меня заинтересовать, да и выбора особенно не было – кубинцы не спешили приглашать местных девушек; к тому же уловила несколько любопытных взглядов В.К. – толпа танцующих то отдаляла нас, то снова сталкивала. Моего кавалера звали Евгением Вадковским, он оказался студентом Политехнического – всё это узнала после; но в тот вечер он что-то многозначительное мычал, не сообщая о себе ничего вразумительного.

Физики, с которыми я общалась в университете, неукоснительно выполняли заповедь тургеневского Базарова – не говорить красиво, они только непрерывно острили; у меня не было прививки против подобного способа оболъщения. Потому ложная многозначительность, проще говоря – манерность – не оттолкнула меня, не заставила насторожиться: он умел говорить красивые слова! И оказалось, что этот старый способ зацепить девушку с высокой самооценкой вполне срабатывает! Чуть ли не во время танца он выдал главный свой шедевр: «А вы знаете, что у вас губы как розы?» Кто бы устоял?

Следующим ноу-хау его было стояние под моими окнами на улице часами. Я жила тогда с родителями на углу

улиц Карла Маркса и Янки Купалы на третьем этаже, однажды, уже зимой, он позвонил и сказал: «Посмотри на улицу!» На противоположной стороне улицы Карла Маркса я действительно увидела Женьку, стоящего на снегу и глядящего вверх, на моё окно, он так задира голову, что слетела шапка, в дальнейшем он держал её в руках. При этом он не делал никаких знаков, не приглашал меня спуститься к нему и больше не звонил. Потом мне надоело играть в гляделки, я отошла и пыталась заняться своими делами, когда через некоторое время снова глянула в окно, он всё ещё стоял, потом исчез.

Так повторялось несколько вечеров, не подряд, но периодически. Я не знала, что и думать. Однажды, не слишком поздно, часов в семь-восемь спустилась к нему, мы немного пошатались по улицам, а потом очутились в подъезде и стали целоваться. До этого мне не случалось так продолжительно, так упоительно делать это: можно сказать, Женька был профессионалом, и весь остаток зимы и начало весны мы часами простаивали в подъезде возле батареи; проходившие мимо жильцы дома неодобрительно поглядывали, но молчали. Как раз тогда закрыли главный вход в подъезд с улицы К.Маркса, попасть в квартиру можно было только через двор, через узкие сени чёрного хода, а в нашем распоряжении оставался обширный холл парадного подъезда. В этом нам повезло, мы не разговаривали почти; я просто плавилась от его прикосновений. Потом стало понятно, какие демоны были выпущены на свободу!

Был и ещё один крючок, на который, общаясь с Женькой, я подседала; и это была поэзия. Тут надо углубиться немного в географию тогдашнего Минска: в отличие от остальных моих друзей и знакомых, мнимый кубинец жил в Заводском районе, отделённом от прочих железной дорогой. Шаткий деревянный мост над железной дорогой делил город на «наш» и «другой Минск», со своими тайнами и законами; в частности, там жила известная всем книголюбом Ольга Всеволодовна, одна из двух подпольных держателей литературных раритетов в

городе. Вторым был знаменитый Ким Хадеев, живущий в самом центре, на улице Захарова, однако он достоин отдельного повествования.

Имя Ольги Всеволодовны я впервые услышала именно от Вадковского; это была его козырная карта. «А знаешь ли ты такого поэта? – и начинал читать: – Ты совсем, ты совсем снеговая, ты так странно и страшно бледна...» Разумеется, я не знала ни одной строчки Гумилёва, хотя имя, конечно же, слышала. Этой же весной мне в руки попала замечательная «Антология поэзии XX века», выпущенная в 1924 году под редакцией Ежова и Шамурина, объёмная, любовно составленная: лучшей, на мой взгляд, не создано до сих пор. Я привезла её из Москвы от своего двоюродного дядюшки Серёжи Кнаппа, который дал её мне на время, на пару месяцев, не навсегда. Любопытно, но сам папа был не прочь, как он говорил, эту книгу «зажилить». Но я дала слово вернуть её, и потому, поднимая свой рейтинг, давала почитать её ненадолго друзьям-интеллектуалам, тому же В.К., большому любителю поэзии. Женька тоже заинтересовался, но ему показывала, не выпуская из рук – вдруг снова исчезнет? С первого прочтения и до сегодняшнего дня застряло в памяти намертво стихотворение Гумилёва «Индюк», особенно его окончание:

И вспомню я тебя с улыбкой,  
Как вспоминаю индюка.

Началась сессия, и потому не так уж много стихов из московской книги мне удалось запомнить, пока она была у меня. Как говорится, «с мясом от себя оторвала», когда отвозила летом Антологию в Москву. Книга эта сыграла особую, роковую роль в жизни ещё одного человека – Вениамина Михайловича Айзенштадта, самого значительного послевоенного поэта из живших в Минске и писавших на русском языке. Когда мы подружились, где-то в восьмидесятых, В.М. рассказал мне, что когда в школьные годы «Антология» Ежова и Шамурина попала к нему в руки, он бросил школу и сел её пере-

писывать. И переписал – за пару лет! Почерк у него за это время выработался каллиграфический, стихи свои тоже любил именно переписывать, не перепечатывать; он так и проработал всю жизнь художником-каллиграфом в артели инвалидов...

А в начале 90-х было выпущено факсимильное издание этой замечательной «Антологии», и без малого через тридцать лет я стала наконец её счастливым обладателем!

... Женя любил напускать туман, чтобы придать себе таинственности, надо сказать, это у него получалось профессионально. Ко мне домой не напрашивался, хотя часами простаивал сначала под окном, а затем – у батареи в подъезде. Было понятно, что знакомить его с родителями ни к чему. И не потому, что он жил в Заводском районе, а прежде всего потому, что он не учился и не работал, хотя числился студентом Политехнического в бессрочном академическом отпуске. Болтался по улицам, чем занимался – не могла понять, но уж во всяком случае не входил в преступные группировки, как может подумать воспитанный на детективах современный читатель. Он был эстет-любитель, типичный фланёр (от слова фланировать), никогда не говорил ни о каких планах на будущее, ни о деньгах. А я не решилась за всё время знакомства задать ему самый актуальный современный вопрос: what do you do for living?

Одевался со скромным шиком – бессменная чёрная рубашка, серый пестротканый пиджачок. А вот джинсов, которые бы замечательно dokonчили этот прикид, ещё вообще ни у кого их не было, хотя это трудно представить сейчас. Один раз, когда мы шли по Круглой площади, мимо кафе «Березка», он взял меня за руку и, увидев мои нечищенные ногти, уличил: «В человеке всё должно быть прекрасно – и лицо, и ногти...» Было стыдно. У него никогда не было денег и потому мы никуда не ходили вместе, разве что в кино, редко. Так мы посмотрели вместе на дневном сеансе в кинозале Дома Офицеров только что вышедший гэдээровский фильм «Сыновья

Большой Медведицы» – первый фильм с Гойко Митичем. Неудивительно, что это запомнилось – ведь Женька и был настоящим индейцем среди нас, бледнолицых – со своей малопонятной системой ценностей и способом добычи хлеба насущного...

Виделись мы нерегулярно, никогда не договаривались о следующей встрече; иногда глянешь в окно, а он там стоит – давно, недавно – неизвестно.

Было очевидно, что он «не нашего круга», многое о нём стало известно постепенно – старший брат его учился на биофаке после армии, женился на дочери бывшего ректора Ирэн Лукашевой, с которой в школьные годы родители безуспешно пытались меня подружить. Вездесущая Галка Сивчик, женившаяся-таки на себе сына бывшего ректора Алика, позднее известного ученого-геолога, говорила, что хватит и одного братца, женившегося на дочке профессора.

В те годы я впервые осознала мудрость консервативного Востока! Папа часто бывал по делам службы в Дагестане и особенно был дружен со знатным виноградарем, депутатом Верховного Совета Нариманом Алиевым; так вот все три его дочери были просватаны за сыновей его друзей и соратников с пелёнок, они это знали и были спокойны за своё будущее; взрослея в семье, они изредка виделись с будущими мужьями, привыкали к ним... То есть момент случайности минимизировался. А у нас делали вид, что всё произойдёт само собой, «из обезьянки»; папа говорил: «Сначала окончи аспирантуру, защити диссертацию,» — а я почувствовала как раз в это время неясные томления – как позднее говаривал мой рано созревший брат: «Весна идёт, гормоны хлещут».

Папа-биолог явно недооценивал природные начала своих детей. И потому я сама достаточно рано была озабочена вопросом замужества; к тому же на курсе уже заключались пари: кто из девчонок успеет выйти замуж до окончания универа? Как стало вскоре известно, я в списки удачниц не попадала...



Жениться на мне Женька вовсе не собирался, что обижало и удивляло меня. Он вообще ничего не собирался делать, единственный из всех, кого я тогда знала, но, объясняясь мне в любви, сказал: «Я никогда никого не любил, я мать свою не любил...» Дура я, дура – не сразу поняла, что радоваться нечему, что человек, никого не любивший, вряд ли научится этому чувству вообще. Я подарила ему роман Ричарда Олдингтона «Все люди – враги», одну из любимых книг того времени, и название её как-то рифмовалось с происходящим.

Шел шестьдесят третий год, в моде были романы Ремарка и Хемингуэя, герои безвременья пытались заполнить душевный разлад, цепляясь за любовь, как за последнее прибежище; многие из ровесников ощущали себя тем самым «потерянным поколением». Как и положено романтическому герою, у Женьки постоянно были грустные глаза: «когда грустны твои глаза, то просто вытерпеть нельзя», он встречал мои пробные строчки скептически – ещё бы, благодаря Ольге Всеволодовне он мог сравнивать их с твореньями поэтов Серебряного века!

Так мы встречались с осени до лета, которое я проводила в Крыжовке, на даче, каким-то образом он и тут меня нашел. А потом случилось то, что случилось – на острове, среди бела дня, в ложбинке на траве, нелепо и быстро: невероятное напряжение наших стояний у батареи нашло естественный выход. Чтобы оценить меру моего невежества, скажу только, что я растерялась, заметив кровь; он меня успокоил, сказал, что так и должно быть. Лет через двадцать узнала, что это называется «дефлорацией».

В тот же день он уезжал «в деревню, к тётке, в глушь, в Саратов» – как всегда, интересничал, уходил от прямых ответов, делал вид, будто ничего не случилось. Мы возвращались от лодочной станции к железной дороге по холмам, поросшим лесом: высокое солнце золотило стволы сосен, отцветали ландыши, среди травы белели кое-где восковые свечки ночной фиалки – любки.

На обратном пути всё вокруг обозначилось чётко, непоправимо; чтобы зафиксировать момент, я сняла с пальца серебряное колечко с эмалью из бабушкиной шкатулки и протянула ему. Он не стал даже его примерять – видно было, что не налезет даже на мизинец, молча положил его в нагрудный карман своей неизменной чёрной рубашки.

Впереди было целое лето на обдумывание происшедшего, впрочем, на даче всегда обитала куча народа, предстояло множество всяческих занятий и дел: в конце сессии была пересдача по теории поля Борисоглебскому, а потом начались ягоды, грибы... С его отъезда прошла вечность. Он не появился и с началом занятий, великолепная минская осень прошла в ожидании, когда окончился листопад, летнее происшествие перегорело и погасло; пустота и недоумение остались – как я могла? Лишь в ноябре, в непогоду, в дождь со снегом – этот была его погода – он возник на улице, на каком-то перекрёстке. Почувствовав, что я уже отошла от него, освободилась, он забеспокоился и стал настойчивым: кажется, я шла на тренировку в филологический корпус мимо Ленинки, а он шёл следом на некотором расстоянии и что-то бубнил. В руке у меня был то ли букет, то ли пук сосновых веток, и его преследование так раздражало, что, повернувшись к нему, вдруг стала с наслаждением хлестать его этим букетом по лицу посередине улицы, он только уворачивался... Никогда в дальнейшем у меня не было такого открытого выплеска накопившейся злости!

Были какие-то письма, он писал, что я ему теперь жена: писем этих и слов я ждала лето и осень, теперь они меня не трогали совершенно. Один раз спросила, где моё кольцо? По его словам, его забрала какая-то попутчица в поезде, наверно, решил похвастаться, в какой именно момент его получил – это окончательно закрепило для меня наш разрыв. Снова он периодически простаивал вечера под окнами, затем надолго исчезал. Возможно, он всё-таки учился, ещё весной была с ним в Политехническом: он пришел на зачёт, однако однокурсники встреча-

ли его так, будто год не видели. В следующий раз после избиения на улице он нашел меня под Новый год, после университетского вечера в здании химического корпуса, подарил огромного плюшевого медведя – мой маленький брат, в дальнейшей жизни врач-хирург, долгие годы тренировался на этом медведе делать уколы. А у меня на тот Новый год были уже совсем другие планы...

История наших отношений надолго прервалась.

Когда, окончив физфак, мы жили с Костей на Антоновской, что-то не ладилось между нами, и снова, будто почувствовав это, явился Женька. Теперь он стоял вечерами не под окнами, а на третьем этаже соседнего подъезда, откуда видны были освещённые окна нашей квартиры на четвёртом – до этого случая Костя был принципиально против любых занавесок... Выглянешь в окно, а в доме напротив на лестнице застывший чёрный силуэт. Потом встречал меня на улице и говорил, что так и не смог забыть. Конечно же, это было искушение, тем более что Костя был первые годы суров и неласков, потому именно, что был у меня не первым... Через много лет после развода Костя признался, как в те годы, когда мы жили вместе на Антоновской, однажды вечером взял из дома топор, спрятал его под пальто, как Раскольников, и пошёл на мост через железнодорожные пути подкарауливать Женьку, чтобы «выяснить отношения». «К счастью, Бог уберёг, – закончил он свою исповедь в последнюю нашу встречу, – и мы не встретились». Кстати, Костя до женитьбы тоже жил в Заводском районе.

В те послеинститутские годы, когда периодически начинала звучать в душе навязчивая мелодия неблагополучия – всегда сопутствовали ей эти Женькины возникновения из ниоткуда...

Но всё проходит в жизни зыбкой. Подул ветер перемен: после развода с Костей моим мужем стал Олег, я родила Таню, защитила диссертацию и окончила Литинститут, начала работать – о, счастье! – в академическом Институте литературы; затем уже дочь поступила в МГУ и за годы учёбы поменяла три факультета. Когда

настали перемены в стране, вернее, та страна, в которой мы родились и прожили большую часть жизни, исчезла с карты мира вообще, всё поменялось неузнаваемо. Пришлось учиться реагировать на эту новую реальность: деньги стали мерилom всех вещей, дети оказались умнее родителей, у меня стали наконец выходить кое-какие книжки, жизнь наступила как в той детской считалочке: поспевай – не зевай...

Последний раз я услышала о Жене в конце девяностых, когда окончательно решился мой отъезд в Москву. Как-то на Слесарной улице, на той самой лестнице, облупленные ступени которой так хорошо отзывались рифмами, когда ступаешь на них, я встретила Лору Козлову, с которой училась в одном классе второй школы. Потом она перешла в другую, как оказалось, в тот самый класс, где учился Женька; кстати, их школа стояла как раз на том месте, где в дальнейшем построили новую, ту, которую окончила моя Танюша. Мы с Лорой не виделись очень давно, никогда не дружили, и потому, кивнув издали, я хотела продолжать свой путь. Но Козлова подошла ко мне сама и без всяких околичностей спросила: «А правду ли рассказывает Вадковский, будто он был твоим первым мужчиной?». Я засмеялась и ответила: «Да, правда, а кому это интересно?». «А мы-то ему не верили,» – удивленно заметила она и пошла своей дорогой. Стыдно признаться, но я почувствовала себя польщенной!

Всё-таки было в этом самом Евгении что-то особенное, неизменяющееся...

\* \* \*

Не иди! – шептала, одевая шубу,  
Не иди! – молила, в зеркало смотрясь.  
Но глаза горели, и дрожали губы,  
И бежали ноги словно в первый раз.

Знала – станет грязным снег, сегодня белый.  
Знала – будут слёзы – не люби, не смей!  
Но слова звучали, звезды что-то пели:  
Нежное до боли, сладкое как смерть.

## *Первый минский плейбой*

Во времена, когда мы часто виделись с Витей Свято-славовым, слово «playboy» не обжилось ещё в нашем лексиконе, но под расхожие определения тех, кто стремился выделиться из общей массы, такие как «стиляга» и «пижон» он не подходил – это было очевидно.

Стояла поздняя послеоттепель. Я заканчивала физфак – с грехом пополам, зато личным своим достижением считала постановку «Архимеда» на университетской сцене; текст этой студенческой оперы привез из Москвы Лев Томильчик – тоже в своем роде «плейбой» среди серой массы преподавателей. На экзамене по квантовой, после премьеры «Архимеда», он натянул мне тройку, громогласно пояснив: «Исключительно за «Архимеда».

А сестра моя в это же время кончала одиннадцатилетку, это она встречалась с Витей, своим одноклассником – и его папа утром после выпускного бала звонил нашей маме: «Ваша дома? Да, и моего тоже еще нет»

Для нас, то есть для моих однокурсников – а физики в те годы причисляли себя к элите, и в «Архимеде» звучало самодовольно: «Только в физике соль, остальные все – ноль, и филолог, и химик – дубина». Но мы – так мне кажется – самоутверждались в основном через то, что пытались делать (ставили «Архимеда», например) или через то, что читали: летом этого года модно было

ходить по пляжу с томиком свежеизданного Альбера Камю – так утверждал Геночка Новицкий и даже сумел подобрать себе плавки в цвет переплёта книги, этикие тёмно-сиреневые. Новицкий был известным снобом и циником, а это подразумевает некий круг идей, то, что нашего героя, то есть Витю Святославова, совсем не интересовало, не помню, чтобы он вообще что-нибудь говорил, чаще напевал и пританцовывал. Зато смотреть на него было захватывающе интересно: вот Витя в замшевой курточке до бёдер, светло-палевой или нежно-лососевой – как бы точнее определить этот цвет? Где он ее тогда выкопал, было просто умонепостижимо, в чёрных, лихо закругляющихся к вискам очках, отменно подстриженный, упругой походкой танцующего тигра движется по улице Карла Маркса с заворотом на Энгельса. Сзади – свита по меньшей мере из одного человека, Сени Лайхмана – будущего врача-психотерапевта, тогда худого, высокого, носатого. На правах старшей сестры его девушки я могла позволить себе ехидную реплику: «Ну и как сам несравненный Жан Марэ находит наше скромное захолустье?» Витя улыбается обольстительно и ничего не отрицает, никаких лицемерных вздохов «да что ты» или «куда уж нам». Кажется, именно тогда стали говорить «как в кино». Они, ровесники сестры, в более раннем, чем мы, возрасте увидели на экране красивую жизнь – «из всех искусств для нас важнейшим...» – не так ли? Пора пришла вспоминать классику. Многие из тех лет видятся как на киноплёнке – вот сестрёнка моя в коротком сиренево-розовом платьице колокольчиком а ля «Шербургские зонтики», короткие чёрные кудри стянуты намертво лаком под седину. Она обнимает входящего Витю Ландыша, делая при этом ласточку, согнув колено, и одновременно бросает косой взгляд в зеркало – каков кадр? Она уже поступила на биофак, а он в Политехнический, на самый малоконкурсный факультет самого тяжёлого машиностроения. Естественно, через полгода, то есть в январе, льготная жизнь закончи-

лась, дальше грозила армия, сестрёнка была в панике – что же будет с нашим счастьем? Витя же немного рисовал для рекламных бюро, немного фарцовал – а откуда бы иначе брались такие прикиды? Кажется, и манекенщиком подрабатывал, и в кино снимался в массовке. У нас дома он стал персоной нон грата после того как не смог вразумительно ответить на прямой вопрос отца: так кем вы хотите стать, молодой человек? Вероятно, Ландыш считал, что уже стал – этим самым плэйбоем.

Только летом, когда родители жили на даче, он снова появился у нас в квартире, и тогда же впервые я прочитала на глянцевой обложке запретное слово «playboy». Что было дальше? Упорно предпочитаю жизни будничной, трудовой – праздничную и праздную, Ландыш поступал и бросал работы, институты, девушек, хотя неизменно возвращался к сестре. Но доведённая в конце концов до отчаянья этой чехардой, уже окончив универ, сестрёнка вышла замуж и уехала, сначала недалеко, потом еще дальше: стабильности и благополучия – вот чего жаждало её истерзанное сердце. Многие знакомцы тех лет куда-то делись – уехали, изменили профиль, сгинули здесь. Где те гордые собой физики со своим Архимедом? Самые догадливые во главе с Г.Н. давно стали двигать уже коммерцию, не науку...

Почему-то казалось, что и Ландыш подался куда-нибудь, в далёкие тёплые края. Но нет, вот он – недавно встретила на углу улицы Карла Маркса и Энгельса: и походка почти так же упруга, и стрижка вполне, даже курточка похожа на ту, прежнюю: замшевая, до бёдер – сейчас такую не носит разве ленивый. Только чуть погрузнел в талии, погрузнел взглядом – очки уже не такие тёмные, как раньше, лишь слегка затенённые. Сеня Л., которого встретила после, сказал, что перенёс его друг сложную операцию на глазах.

Время Вити Ландыша – приглядимся: разве не оно на передвижной ярмаркой раскинуло свои пёстрые шатры на нашем подворье?



\* \* \*

А наша прежняя квартирка  
Была как раз напротив цирка,  
И близость жгучая к зверью  
Питала молодость мою.

Блаженный час – ночные бденья,  
Перед экзаменом волненья...  
Взрыва молчанье грозный рёв:  
Львам тоже было не до снов.

И бредил Минск ночной пустыней,  
Луна сочилась спелой дыней,  
И ощутив звериный дух,  
Твердили формулы мы вслух.

Творили их как заклинанья,  
Ньютон был богом мирозданья...  
И беркут важный, как Ньютон,  
Однажды сел на наш балкон.

*1996 г.*

## Свеча горела

Теперь понятно – всё самое важное для будущего вползает в настоящее исподтишка: так готовились подспудно те хтонические сдвиги в обществе, пик которых пришелся уже на годы юности наших детей (которые вправе упрекать нас за собственное относительно бесконфликтное существование в юности, потому что им-то смолоду пришлось озаботиться добыванием хлеба насущного). Чувствую необходимость уточнить: и мы были не хуже других – мы читали!

Ключевое слово тайного несогласия, пароль нашего пассивного сопротивления, звучало так: «Доктор Живаго».

Мы учились на втором курсе, когда в феврале месяце на физфаке БГУ состоялось общефакультетское собрание для осуждения романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», а также тех студентов физфака в количестве одного человека, которые его читали.

Заметим, что экзекуция осуществлялась (вероятно, не только у нас, а повсеместно!) за три месяца до безвременной кончины поэта от острой сердечной недостаточности. Единственным студентом, роман читавшим, был сын преподавателя нашего же факультета – Женя Шидловский, уже знакомый нам, второкурсникам, был принципиально несолидным, общительным, хлипким, как и положено интеллектуалу. На филфаке, по слухам, роман читали трое, но как происходило собрание по осуждению у них,

не слышала ничего. А у нас... Вот кому я теперь, по прошествии всех этих лет, действительно сочувствую – это ректору нашему, Антону Никифоровичу Севченко, светлая ему память. Конечно же, был с самого верха приказ «осудить», а ему, физику, было не до романов, своих дел по горло – новый корпус физфака сдали менее полугода назад. Это Антону Никифоровичу мы обязаны резким рывком науки, особенно белорусской физики, именно в эти годы! На собрании А.Н. был заметно раздражён, путал слова, к примеру, обвинял Шидловского в употреблении антибиотиков (мы думали – он хотел сказать «наркотики»); преподавательница теплофизики вопрошала подсудимого: «Что же вы книжки читаете, разве вам физики мало?», а первокурсник-активист Ваня Гриб озвучил извечную нелюбовь иногородних студентов к минчанам так: «Пока ты в рэстаране сидел, суп с куратиной ел, я в студенческой столовой, за 30 копеек...» Это был его ответ на зачитанные в начале собрания странички из дневника обвиняемого. Автором описано было единоразовое посещение им лучшего минского ресторана и горькие сентенции о невозможности любви со стороны девушек нехорошего поведения, посетивших в тот вечер ресторан (меню в этих заметках отсутствовало, это точно). В общем, выступали те, кто хотел засветиться, произнести присягу на верность, вставить свои пять копеек. Злобствуя напоказ, добрейший Антон Никифорович не позволил исключить Шидловского с волчьим билетом, лишь отстранил его от учёбы на год.

Впрочем, через год или чуть более Жени не стало, а фраза А.Н. об антибиотиках оказалась не оговоркой.

Сила, которая, «желая зла, неизменно способствует добру», сработала в нужном направлении, заразив страстной мечтой прочитать роман Пастернака. Осуществить её удалось лишь через год после окончания факультета; запрещённые книги играли тогда роль блесны, кроме неё в джентльменский набор соблазнителя входили также ключ от пустой квартиры и бутылочка зарифмованного болгарского коньяка «Плиска» – это нам близко». И два-три часа времени на всё про всё, фотоко-

пия была слепой и чёрной, из рук не выпускалась. Нелегальщина и аморальщина (или «нелегалка-аморалка»), как и всегда, шли в одной упряжке. Помню – читала по предложениям, не улавливая содержания, хотелось целые абзацы выписать и зачитывать вслух... Это было тем самым, чего алкала душа. После, в первом легальном издании романа, в предисловии Д. Лихачёва прочитала объяснение: «проза поэта». Уже папа мой съездил в Англию, посмотрел фильм, и запала ему в душу музыка из фильма, очень жалел он, что не может её воспроизвести.

Конечно же, были в Минске и явные проявления неформальной культуры – когда в Москве вошли в моду чтения стихов у памятника Маяковскому, спонтанно возникли подобные чтения и в Минске, у кинотеатра «Пионер», молодёжи набиралось достаточно, а Слава Боровой и Володя Рудов даже залезли как-то на крышу кинотеатра – это запомнилось больше, чем стихи. Представители власти в этот момент ловко сумели перехватить инициативу: «Да зачем вам, ребята, на улице, в любую погоду?» – и предложили для этого действия зал Дома Актёра на 3-ем этаже, не вместившем всех желающих присутствовать в первый вечер. Постепенно интерес к этим встречам в искусственном русле иссяк – так, вероятно, и было задумано.

...Посмотреть фильм «Доктор Живаго» стало моей «идеей фикс» после того, как его увидела дочь – её другу-американцу подарили кассету с фильмом, чтобы он лучше узнал Россию, если уж решился приехать сюда. В видеопрокатах на меня смотрели удивленно и непонимающе, стоило заикнуться об этом фильме: «Кому это сейчас интересно?» Но вот в январе 2000-го, в Киноцентре, мне удалось купить две кассеты «Д.Ж.» – 1-ю и 2-ю серии. Дрожащими руками – когда ждёшь слишком долго, разочарование почти неизбежно – распечатала, вставила, смотрю: одна, ночью, обливаясь слезами. Фильм обо мне, о нас, о прошедшей жизни, о поколении нашем, которое, хотя зачитывались мы «потерянными» Олдингтоном и Ремарком, правильнее было бы назвать «незамеченным».

В фильме – суетливость и абсолютная недостоверность событий исторических, и вдруг дух захватывающий кадр: жёлтые цветы в вазе, на столе, в покинутом доме. Взгляд поэта. Зачарованность миром, его тайной и красотой великолепно передают глаза Омара Шарифа – доктора Живаго. И сострадание к боли рядом. И невозможность понять происходящее, слиться с ним, войти в него.

Когда-то, после чтения слепой фотокопии в чужой квартире, соблазнитель-однокурсник называл меня Ларой, и это льстило (не то что до середины романа мы тогда не дочитали, несколько страниц только освоили, зато выборочно!). Да, музыка в фильме – это тема Лары, тема невозможности любви, её и правда нельзя слушать без слёз. Возможно, слабые реализуют себя через сексуальность – это уже о нас, о моих одногодках. Отторжение официоза, нежелание активно включаться в общественную жизнь вытеснило амбиции «в сторону Свана» – в чувства, в желания, в страсть. Серб Милорад Павич – известный авторитет среди ныне живущих писателей – так объяснил эту ситуацию: наши ровесники – идиоритмики-одиночки (к ним он относит себя) оказались затёртыми между двумя сильными поколениями: это отцы-победители-коллективисты с одной стороны, и дети, получившие возможность набить свои шишки, вступив смолоду в реальную жизнь и реальную борьбу. А тогда: «Мело, мело по всей земле, во все пределы...» – вот обнаружился недавно исключённый со второго курса физфака БГУ за наглость Аркадий Гуревич (и благодаря этому закончивший в Ленинграде престижный институт), замело его не куда-нибудь, а в тургеневско-достоевский Баден-Баден. А «Живаго», на мой взгляд, для XX века – то же самое, что «Война и мир» для XIX (как и в знаменитом толстовском романе, войну почти всю пропускали!). Это объяснение, оправдание, наш общий итог: упасть, чтобы прорасти, чтобы подрастали дети, чтобы запечатлеть прожитую нами ушедшую эпоху.

## ЗВОНОК В ОКТЯБРЕ

Одолеет ли дух тёмную полосу?  
Но тяготеет слух к твоему голосу –

В сумерках листья сияют ярко,  
Когда возвращаюсь Петровским парком.

Похищает осень кусочки света.  
Возвращает голос нарочанское лето.

Шелестели и наши сады Лицея,  
Опустели, но в памяти панацея:

Физики-лирики, лодки скользящие...  
Прошлое – пройдено, есть настоящее:

Горечь и нежность прежних утрат,  
Голос.

Густой,  
золотой листопад.

## Общество «Знание»

«А в этом месте, Любовь Николаевна, вы забыли сказать, что Бога нет,» – помню как сейчас – вот Софья Абрамовна поднимается с последней парты, снова перебивает мою лекцию, которую читаю в девятом классе одной из минских школ...

Защитив кандидатскую диссертацию в марте 1971 года, когда Танюше было всего семь месяцев и до года можно было не ходить на работу, а папа сказал, что можно теперь «сосредоточиться наконец на заботах о дочери», жаль было расслаблять голову, потому что идеи и мысли по теме диссертации и не только продолжали циркулировать сами по себе. А ведь какими непомерными волевыми усилиями пришлось заставлять голову работать. Зато раскрыв процесс думанья, так же трудно было его остановить!

И вот тут мне в руки попадает случайно брошюра «Зеленая революция», написанная папой относительно недавно, пару лет назад. В ней шла речь о генной инженерии, которой папа увлекся после командировки в Канаду. Ярко и увлечённо, как всё, что он делал, папочка писал на волнующую его с юности, с детства тему – борьба с голодом: юношей в Воронеже видел толпы умирающих от голода беженцев с Украины. Это даже повлияло на выбор специальности – папа учился в эти годы в Сельхозинституте – генетика и селекция сельскохозяйственных растений (куда поступил, оставив неокончен-

ным рязанское художественное училище, где учился до этого). И остался верен идее борьбы с голодом на всю жизнь. Поэтому, когда научный мир оповестил человечество о первых успехах генной инженерии, папочка тут же сделался её преданным адептом.

Идея генной инженерии такова: чтобы увеличить урожай зерновых, как элитных сортов пшеницы, идущих на приготовление нашего хлеба насущного, так и кормового зерна, необходимого для животноводства, надо всего лишь искусственно соединить в одном геноме хромосомы пшеницы и ржи. Растение, созданное таким образом, назвали «тритикале», (слово составлено из латинских названий «тритикум» и «секале»), отличается повышенной устойчивостью к капризам погоды, а также повышенной урожайностью. У папы было сравнение: поля как цеха, растения как станки; теперь мы меньше зависим от произвола стихий, можем рассчитывать урожай и не бояться голода. Во всяком случае, я так поняла главный посыл брошюры, я вообще похожа на папу, и потому он меня увлѣк.

Когда пришло подтверждение из ВАКа о получении диплома кандидата биологических наук, я предложила в общество «Знание» лекцию про «Зелѣную революцию», и тема была одобрена. А почитать лекции в школах Минска от общества «Знание» было почти единственным способом подработки: совместительство запрещалось, нельзя было читать лекции в вузе и одновременно работать в академическом институте, даже работая на полставки – так только мне удалось выйти на работу после рождения Танюши.

Возглавляла городское общество «Знание» старая большевичка Софья Абрамовна Сокольская – почтенного возраста, весьма настырная старушонка, поставившая главной своей целью атеистическое воспитание школьников. И в том месте, где я рассказывала о соединении геномов пшеницы и ржи в единое целое, становящееся геномом нового вида растения, того самого тритикале, ей втемяшилось в голову, что тут надо особо подчеркнуть: создавая новый вид растения, мы претендуем на прерогативу Господа Бога. Именно об этом мне следо-



вало в полный голос заявить! Потому, вероятно, она и одобрила сюжет моей лекции. Я так глубоко не копала, думаю, папа и другие генетики тоже не думали, что бросают вызов Создателю. Но повторять за Софьей Абрамовной казавшиеся мне глупостью и кощунством слова тоже не хотелось, просто я перестала эти лекции читать, вспоминая лишь время от времени как забавный эпизод.

Тем более, что вскорости поступила в Литературный институт и могла выступать от Бюро Пропаганды с чтением стихов – тут уж никто не вмешивался, и когда после первой поездки в Брест убедилась, что мои стихи слушали с интересом работницы молокозавода в свой обеденный перерыв – получила мощный стимул к творчеству! И с «зелёной революцией» на какое-то время было покончено.

Минуло сорок лет, и буквально на днях услышала по центральному ТВ целую лекцию о генномодифицированных продуктах: теперь это наши будни, почти невозможно найти в магазинах продукты без добавления того или иного компонента, полученного путем вмешательства в самое естество, в святая святых всего живого – в его геном. Разумеется, я слышала всё это не в первый раз, но так убедительно, внятно, с привлечением экспериментальных данных – впервые. И ещё, наверное, потому что выслушала от начала до конца, а не на ходу, как обычно, не убежала и не спешила, за что ещё в детстве получила от бабушки прозвище «Родя-недослышка».

Утверждается, что не в первом, так во втором поколении тех, кто потребляет продукты с изменённым геномом, возникает стойкое бесплодие и ряд других болезней. Опыты проводились на белых мышах, а наблюдения – на сельскохозяйственных животных, которых регулярно кормили этим самым высокоурожайным модифицированным зерном. Речь шла и о генетически модифицированной сое, которая служит самой популярной добавкой в колбасы, сыры и другие белковые продукты. Конечно же, тут и реклама – продукты с указанием того, что ничего искусственного в них нет – так вот, такие продукты есть, но они самые дорогие (не будем вдавать-

ся сейчас в подделывание указателей, что тоже наверняка имеет место). Так что наблюдается теория Мальтуса в действии – богатые продолжают успешно размножаться, а вот у бедных с репродуктивной функцией возникнут в ближайшем будущем непредвиденные сложности. Может, это и есть желаемый результат в борьбе с бедностью и голодом на планете – голодные люди, особенно в зонах стихийных бедствий, вряд ли задумываются о полезности пищи, присылаемой как гуманитарная помощь, а на земле уже успешно осуществляется программа по сбалансированности между ростом народонаселения и возможностями планеты его прокормить. Причём безо всяких лозунгов и деклараций.

Мне интересно – что бы сказал папа теперь, в свете всех этих новых данных науки? И я не могу ответить себе на этот вопрос...

Но если копнуть ещё глубже – получается, права была незабвенная Софья Абрамовна, утверждавшая с задней парты: «А в этом месте, Любовь Николаевна, вы забыли сказать, что Бога нет!»

\* \* \*

Переполнены газеты,  
От сенсаций, как Везувий,  
Растревожена планета:  
Вы слышали – что-то, где-то –  
Результат непредсказуем.

Геростратами – от скуки  
Разбиваются мензурки,  
Страх открытия в науке:  
Мойте тщательнее руки –  
Результат непредсказуем.

Мы не этого хотели:  
Множить вирусы безумья  
Между этими и теми.  
Поползли к закату тени –  
Результат непредсказуем.

Напряжение у входа  
Возрастает –  
образумьтесь:  
Расшифрованы все коды,  
Нету тайны у природы...  
Результат непредсказуем.

## Институт культуры

Возможно, вернее было бы назвать это стёклышко светло-синего цвета «Университет культуры», потому что именно под этим гордым именем славное учебное заведение функционирует ныне, а «Институт культуры» – это теперь название конечной станции метро. Но счастливые годы, связанные с первым опытом преподавания литературы, прочно связались в памяти со словосочетанием «Институт культуры». Некоторые злопыхатели прибавляли: «и отдыха», по аналогии с многочисленными парками «культуры и отдыха имени Горького», – ну, что ж, может быть, не так уж не правы насмешники, некий налёт праздности, то есть бестолковой суеты и незарегулированности, составляет для меня до сих пор главную притягательность, тонкую ауру данного заведения. К примеру, подобное ощущение начисто отсутствует в обстановке теперешнего филфака БГУ – возможно, потому, что ранее в этом помещении размещалась партшкола.

Здание Института культуры было выстроено под вышеназванное учебное заведение специально, и зловещие тени отцов нынешних меланхолических Гамлетов не мерещатся в глубине коридоров, а из окон четвёртого этажа, на котором изначально располагалась кафедра литературы, виден простор: фасадом светлая коробочка Института поставлена к железной дороге и широкому

заасфальтированному шоссе, вдоль которого зданий, тем более многоэтажных, нет.

Не помню, кто посоветовал мне в поисках работы обратиться именно к незабвенному Николаю Михайловичу Гринчику в Институт культуры. Тогда я только что заочно окончила Литературный институт, и похожая на парижского гамена журналистка Ирина Гуринович, которая вскоре должна была сдавать экзамен по литературе в пресловутой партшколе, пригласила меня к себе, чтобы получить развёрнутые ответы на непонятные вопросы. Я начала говорить, а через пару часов любознательная Ирочка хотела, но уже не могла остановить словесный поток...

Помню первую встречу с Гринчиком – он понравился мне сразу: крупняк, весёлый, курносый, голубоглазый. Из него просто сочилось специфически белорусское благожелательное лукавство; первое впечатление развёрнуто подтвердилось потом. Он сразу взял меня на кафедру, доверил читать лекции по современной советской литературе – просто бросил на амбразуру предмета, от которого отказались прочие преподаватели кафедры. Конечно, только почасовиком, и я приступила к лекциям – тут у меня был пример: преподаватель Литинститута Владимир Павлович Смирнов, в просторечии В. П. (кстати, в него были влюблены все девушки курса), в течение шести лет вёл семинар по «текущей советской литературе», так назывался этот предмет в Литинституте. Он не вещал, как М. П. Ерёмин (лирика Пушкина), не бормотал, как В. И. Гусев (теория поэзии и прозы), не завораживал, как читавшая античную Аза Алибековна Тахо-Годи; он просто садился за стол и начинал вслух размышлять о том, что появилось нового на страницах журналов, то да сё, постепенно разговор переползал к предпочитаемым им авторам конца XIX – начала XX века. Не то чтобы он подменял наших современников с неустойчивыми репутациями признанными авторитетами, просто он ставил любое стихотворение, каждый рассказ автора-современника в литературный

контекст, давал ему подсветку из не такого уж давнего прошлого – немногим дано было после этой процедуры не ступешваться, не побледнеть. Преподаватели менялись, а вот семинар по текущей литературе все шесть лет вёл Смирнов, именно его манера задумчиво медитировать на аудиторию вошла в плоть и дух...

Мои лекции тоже строились по принципу импровизации, не всегда наперёд был записан план, иногда только в голове: больше всего я боялась опустить глаза, которыми удерживала аудиторию, опущу глаза – и тут же растерзают. При этом предметом владела и от чтения лекций определённо испытывала наркотический кайф.

Это были поточные лекции в большой, амфитеатром расположенной аудитории, их слушали около ста пятидесяти человек, обычно мне ставили две лекции подряд, по ставке почасовика мне причиталось три рубля за лекцию, тогда на эту сумму можно было пообедать в ресторане «Минск». Однако не настолько сытно, чтобы восстановить затраченную энергию, по наблюдению моего папы. Напряжение, в котором старалась держать аудиторию, давалось мне нелегко; было чувство, что из аудитории тебя обгладывают глазами. Раздражало и то обстоятельство, что моё единственное трикотажное платье яблочно-зелёного цвета, специально для чтения лекций купленное в магазине «Трикотаж», было надето на двух-трёх студентках каждый раз, тем не менее кайф от бесконечного говорения не проходил. Привлекала и возможность преподносить студентам свою «картину мира» – программы по современной советской литературе были наименее устоявшимися. Точнее сказать, их просто не было, кроме перечисления: деревенщики, окопная проза, рефлекслирующие интеллигенты, то бишь сорокалетние – по этой канве можно было вышивать любые узоры, по-своему расставлять акценты: например, включать в текст лекции имена авторов, которых не было в программе. Тогда это были Булгаков и Платонов (зато сейчас, кажется, только они и остались, а исчезли все прочие русские писатели советского периода XX века).

Проверяльщики на мои лекции ни разу не нагрязнили, Гринчик навёл справки у студентов, они сказали, что слушать интересно, никто не сбегает – и хорошо, читай в своё удовольствие дальше. Сам он как-то пришел на экзамен, я растерялась, стала строгой как никогда, поставила «три» вместо намеченной четвёрки. Вообще ставить отметки на экзаменах – одно из тяжелейших для меня испытаний, ставила я в основном только «четыре» и «пять», но долго выбирала жертву, чтобы приличия ради поставить одну-две «тройки» на курс, это было мучительно, пострадавшие мерещились по ночам. Постепенно мне удалось побороть боязнь упреков в некомпетентности, «тройки» в моей ведомости просто перестали существовать. Не помню, чтобы из-за этого у меня были неприятные разговоры на кафедре: там вообще была нормальная рабочая обстановка, интриги и сплетни не поощрялись.

Лаборанткой, а также личным секретарём Гринчика была Таня Демьянович, голубоглазая и румяная блондинка, в масть с шефом, которая не просто излучала доброжелательность и старалась помочь – она действительно принимала близко к сердцу всё происходящее на кафедре; редкая расточительность драгоценной душевной энергии на служебные нужды просто поражала: во всё она успевала лично вникнуть, откликнуться, поддержать.

Не имея возможности взять меня в штат, Николай Михайлович фактически пристроил меня в академический Институт литературы им. Янки Купалы: удивительным везением сейчас представляется то, что «жизнь в литературе» для меня началась под высоким покровительством профессора Гринчика Н. М.

Позднее, когда довелось поехать по Беларуси от бюро пропаганды Союза Писателей, в каждой почти библиотеке находились мои бывшие студентки. А в первый год преподавания на курсе были даже иностранки, три болгарские студентки: Ани, Ели и Ваня, которая вскоре вышла замуж за болгарина Ивана – тот учился рядом,

на режиссёрском отделении. Они окончили в Софии библиотечный техникум и потому, наверное, их ответы на экзамене были интереснее других, тайком я записывала некоторые необычные формулировки. Русский язык, на котором они говорили, не состоял из одних и тех же бесконечно повторяемых словесных блоков, как у большинства. Это и было самым удручающим в преподавании – ты учишь, как найти точное слово для выражения собственной, пусть даже спорной мысли, а тебе отвечают заученным набором штампов десятилетней давности...

Последний раз мне довелось переступить порог Института культуры в ноябре двухтысячного – в библиотеке собрались те, кому был дорог Николай Михайлович Гринчик – прошёл год с его кончины. В строгой библиотечной обстановке стояли красиво убранные низкие столики, скромное угощение стояло на них и много, много яблок из родных его мест. Что по имени его жена моя тетка – слышала и раньше, но узнала в тот вечер, что он любил петь с ней на два голоса и в последнюю встречу, уже в больнице, тоже попросил не что-нибудь, а вместе спеть...

И поняла: вот эту музыку в душе его, песенное начало личности ощущали все те, кто знал его и любил.



\* \* \*

Постоянно полустанок, ветер серый и бездомный.  
На пустой платформе с Таней стынем мы, пожитки сжав.  
Оказалось – на распутье я живу в стране огромной;  
Из туманно-жёлтой мути приближается состав.

Сразу люди набегают, скрежет, давка, суматоха.  
От корзин, от спин железных тесно, душно, сзади жмут.  
То ли в Киев, то ли в Полоцк... Не в Смоленск ли?  
Видно плохо.

Постепенно понимаю, что опять не тот маршрут.

Нам сойти бы – остановки нет. В мелькании названий  
Отрывает безвозвратно, удаляет наотрез  
Нас оттуда, где в предвечном грозном розовом сиянье  
Косогор, дымится баня,  
Срез луны, застывший лес,

Конь пасётся вороной.  
Дом родимый за спиной.

## *Институт литературы им. Янки Купалы, или туннельный переход*

Мама рассказывала, что, когда я была маленькой, на каждом детском празднике, куда она приходила со мной, маленькой, от четырёх до пяти лет, только воспитатель-затейник спросит: «Кто умеет лезгинку танцевать?» — а я тут же выкрикиваю: «Я умею!» — и выскакиваю в круг первая. Не именно лезгинку, а просто делать что-то, о чём первый раз в жизни слышу. Мама рассказывала, а я удивлялась собственной детской смелости.

Когда Николай Михайлович Гринчик сказал на своей кафедре в Институте культуры, что в Институте литературы им. Янки Купалы ищут человека, который сможет заниматься восточными литературами, я, не колеблясь ни минуты, тут же попросила его: «Представьте меня!» Не зная ни одного восточного языка, только раз побывав в Ашхабаде, на своей родине, да и то совсем недолго, почему-то чувствовала: я смогу! — и что мне поверят. Самое удивительное — так и произошло.

К этому времени мне неоднократно доводилось побывать в Королицевичах, и на организованных не так давно семинарах творческой молодёжи, и просто так, са-

мостийно. Королицевичи были уникальнейшим местом – добротный двухэтажный бревенчатый дом, когда-то принадлежащий Якубу Коласу и потому такой уютный, располагающий к размышлению и работе, комнат всего восемь, у тех, что внизу – отдельный вход, никто не мешает тому, кто хочет действительно заниматься делом. Но как же приятно встретиться на пути в столовую или на прогулке по лесистым дорожкам с коллегами, извините за дерзость, по перу, с белорусскими письменниками самых разных поколений. Так вот, однажды на прогулке, по пути в столовую, стоящую особняком от жилого дома, встретились и разговорились с писателем Виктором Коваленко, директором института литературы АН БССР, но об этом тогда не имела ни малейшего понятия, но что человек он удивительный – исключительно доброжелательный собеседник, тонкий знаток литературы и что-то ещё, не поддающееся на тот момент определению, в нём было... Ну и просто взаимная симпатия, ненавязчивая заинтересованность ощущались. И когда при первой встрече в институте (хотела написать – на официальном уровне, но слово «официальный» на редкость неуместно употреблять про Виктора Антоновича) узнала, что именно он и есть директор института, восприняла это как удивительную благосклонность судьбы.

Конечно, не всё вышло совсем гладко: необходимость сотрудника в отдел взаимосвязей литератур, на восточные именно литературы была, а вот единицы, то бишь ставки – не было. И вот тут в судьбу мою включилось подлинное чудо: директор Института генетики и цитологии Любовь Владимировна Хотылёва согласилась передать полставки, которые я занимала в этом институте с семидесятого года, в Институт литературы со мной вместе, что выходило из всех рамок и не имело аналогов, возможно, со дня основания Академии. Конечно, одного согласия Любви Владимировны для этого беспрецедентного действия было мало, пришлось ей ещё идти на приём к академику-секретарю Дмитриеву и согласовывать это с ним по всем правилам бюрократии. Разуме-

ется, Институт литературы не отказался от переданной ему полставки со мной впридачу: как говорится, дают – бери. Так что на самом деле вклад Любови Владимировны в благоприятное изменение моей судьбы, в то, что я оказалась в конце концов именно там, где и должна была оказаться, никак нельзя недооценивать.

А заведовал отделом взаимосвязей литератур сам Алесь Михайлович Адамович, имя которого к 1984 году, когда происходили все вышеописанные события, уже обрело всесоюзную известность, но скорее как писателя. Слава его как публициста и общественного деятеля была впереди. Однако имя его было знакомо мне со школы, и во вполне доступном контексте.

Итак, Виктор Антонович согласился принять меня с половинной ставкой из Института генетики в Институт литературы, а Алесь Михайлович не протестуя принял меня в свой отдел. По-настоящему струхнула я в тот день, когда попала для окончательного оформления к Апанасу Пилиповичу Парепке – заместителю директора по административной части; как и положено по штату, он был в недоумении от кульбита с моим переводом: когда институт возглавляет известный либерал Коваленко, должен же кто-то подстраховывать его на бюрократическом уровне? В тот день ноги у меня просто подкашивались (зачем-то надела сапоги на непривычно высоком каблуке), еле не упала на скользком паркете в коридоре. Через некоторое время работы в институте у нас с Апанасом Пилиповичем возникло редкостное взаимопонимание, а при уходе его на пенсию вообще расставались со слезами... Но вначале я так боялась, что он мне помешает, потому что, как и положено, придирался к каждой буковке.

Очень помню первый рабочий день, знакомство с отделом: Ольга Юлиановна Деконская напекла удивительно вкусных пирожков – не по какому-то поводу или к празднику, а просто под настроение: «Эй, народ, налетай!» — и в нашу женскую комнату, где кроме самой Олечки сидели ещё две Галины, Творонович и Ду-

бенецкая (сейчас обе они – известные поэтессы, обе замужем за поэтами, за Яном Чиквиным и Сержуком Сысом), пришли мужчины отдела из соседней комнаты. Это были мрачноватый, бородатый Слава Жибуль (блестяще защитивший диссертацию на тему «Категория трагического в белорусской военной прозе») и обаятельный, полноватый Леонид Козыро, изучающий белорусско-французские литературные связи. Кажется, инициатива разделить сотрудников по признаку пола исходила от самого Алесь Михайловича, руководителя отдела. Во всяком случае, с его уходом состав комнат не сильно изменился, но новеньких рассаживали по комнатам уже не по гендерному признаку. Но я сильно забегаю вперёд – в мой первый рабочий день наш отдел привлекли к переносу книг из библиотеки на новое место, ничто так не сближает, как общая физическая работа – мы познакомились очень легко. Оля Деконская, которая знала заранее о намеченном переезде библиотеки, вообще пришла в тренировочном костюме, поэтому и пирожки испекла как выяснилось. И с самого первого дня атмосфера доброжелательности, взаимного интереса и совсем особенного сердечного расположения поразили и навсегда влюбили меня в новое место работы.

Вскороности вернулась из декретного отпуска ещё одна сотрудница отдела и «насельница» женской комнаты – Таня Андрейченко. У неё практически готова была диссертация – кажется, о поэзии, посвящённой войне, очень интересная, местами парадоксальная – так мне сейчас вспоминается. Алесь Михайлович очень ценил её сообразительность, чёткость и яркость мысли, отличающие всё, выходящее из-под её пера, её литературоведческой хватке мог позавидовать любой из прочих обитателей нашей комнаты, однако настаивать на скорой защите диссертации собственной аспирантки не стал. Я попыталась это сделать, памятуя, как папа давил на меня, не принимая во внимание никакие отговорки, а ведь я писала свой диссертационный

труд глубоко беременной; за эту настойчивость благодарна ему и по сей день. Но у меня не было, так сказать, «административного ресурса», мне не удалось настоять, так по сей день эта диссертация не защищена, а талантливая Татьяна Андрейченко не у дел, увы.

Алесь Михайлович в эти годы (конец 80-ых) был исключительно на подъёме, много ездил за рубеж, опубликовал в «Новом мире» свою повесть «Последняя пастораль»: опасность ядерной войны была на тот момент его идеей фикс. Мы, сотрудники отдела, им возглавляемого, публично не обсуждали произведение шефа, но мимикой выражали достаточно сдержанное впечатление от прочитанного. Но главным было другое – Алесь Михайлович прилетал с другого полушария, овеянный дальними ветрами, и когда он шел, нет, проносился вихрем по коридорам института, вокруг него закручивалась воронка из людей, которые хотели ему что-то сказать, услышать нечто новое или просто дотронуться до него, причастного большому миру! А мы, его сотрудники, гордились своим особенным руководителем.

Хотя надо признать объективно – делами нашего отдела и даже института в целом он интересовался не очень, при обсуждении наших плановых работ явно скучал, а загорался только когда его начинали расспрашивать о его поездках. Помню, как он назвал Индию «лгкими планеты»; его поразила доброжелательность и доверчивость в общении в одной из самых бедных стран, которые он посетил! А нам в его рассказах было многое интересно, но, конечно же, не важнее обсуждения наших литературоведческих работ – тут Алесь Михайлович проявлял известную снисходительность, не переходя пределов приличия; ведь в дальнейшем мы должны были сами добиваться публикаций этих работ в журнале «Вести АНБ, серия филологическая», что было совсем не просто. Мне, например, надо было для этого перевести текст на белорусский язык, а услуги переводчика с каждым днём дорожали...

Потом был фильм Элема Климова по сценарию Алеся Адамовича «Иди и смотри» – подлинное событие для позднего советского кино, хотя тут таился не сразу нами замеченный подвох: «загадчыка» нашего отдела стали перетягивать в Москву. Помнится, мы с Таней на каникулах гостили по обыкновению в Москве у моих родителей, вдруг Оля Деконская позвонила мне и сказала: ходят слухи, что нашего шефа прочат на место директора Всесоюзного института кинематографии. Мол, теперь мы его неизбежно потеряем, а я её успокаивала: «Не может этого быть...» Увы, так всё и вышло, уже осенью, когда коллеги вернулись из отпуска, Алесь Михайлович подал заявление об уходе. Какое-то время (самое лучшее, по правде) Виктор Антонович Коваленко совмещал должность директора института и заведующего нашим отделом взаимосвязей литератур. Потом заведовать отделом стал Михаил Тычина, двоюродный брат Адамовича. А уже позднее, ближе к закату века, нашим руководителем был назначен Владимир Иосифович Мархель.

Миша Тычина был как бы один из нас – и по возрасту не старше меня, и не требовал к себе статусного отношения, прост и доступен в обращении, хоть и доктор наук. Обсуждения при нём носили характер доброжелательного совета – в противоположность тому, как проходили они при Алесе Михайловиче, когда обязательно завязывалась острая полемика, зачинщиком которой был, разумеется, сам шеф.

Мою первую плановую тему обсуждали года через два после моего зачисления в отдел, она имела название «Белорусско-азербайджанские литературные связи». К слову сказать, тему себе придумала я сама, мой папа, услышав её название, сказал: «Богатая у нас, однако, страна, чтобы держать сотрудника ради такой никому не нужной темы!» В нём говорил здравый смысл учёного-естественника, которому казалось, что большинство гуманитариев занимается ерундой. Почему белорусско-азербайджанские, а не белорусско-туркменские, как думалось вначале? Мне ведь удалось даже найти для

себя в Минске не только учебник туркменского языка, но и учителя!

Давуд Шербаф работал в Институте физики в лаборатории оптики вместе с Костей Предко – тогда, сразу после моего окончания физфака БГУ Костя нас и представил друг другу. Давуд был азербайджанский коммунист, бежавший из Ирана в СССР, не помню, как он оказался именно в Белоруссии, но по образованию был, естественно, физиком и работал в лаборатории Иванова, пока не заболел. У него отнялись ноги – говорили, что во время побега через границу ему пришлось более суток простоять в холодной горной реке.

И поэтому к своим 50-ти годам оказался абсолютно обездвиженным. Это был крупный мужчина мужественной внешности (похожий общим обликом на Садама Хусейна – так представляется мне сейчас). А женился он на Катерине Ивановне Люлькиной, которую я тоже знала давно, потому что она работала в Институте генетики и цитологии. Она и предложили мне приходить к ним домой заниматься, потому что Давуд «очень скучает».

Мне кажется даже, что я не платила за эти уроки: сначала мы пытались заниматься по раздобытому мной учебнику именно туркменским, но постепенно перешли на азербайджанский. Прочитала фразу Лермонтова : «Азербайджанский на Кавказе то же самое, что французский в Европе» – и решила, что учить надо более литературно разработанный язык, тем более что для моего учителя именно азербайджанский язык был родным.

Он был единственный человек, встреченный мною в жизни, фанатично приверженный коммунизму; он один буквально принял анекдот тех лет: «Как зовут собаку Рейгана?» Тетчер и Рейган назывались им именно «собаками», что было удивительно для середины 80-ых, романтически настроенных к Западу предшествующих перестройке лет. Приходили к нему советоваться по важным для них вопросам молодые азербайджанцы, живущие в Минске, авторитет его среди них был непрерываем. Не помню, год или два я ходила к Давуду – в



1986 году мне уже удалось получить стажировку в Баку для изучения языка. А с Давудом достаточно скоро, но уже после того, как я перестала ходить к нему заниматься, случилось несчастье: приехавший врач по «скорой помощи» сделала ему какой-то укол, и он скончался тут же. Было ли расследование – не знаю. Буду рада, если тот, кто более в курсе, напишет подробнее о Давуде Шербафе. Просто захотелось «ввести в контекст» ещё одно имя – вот какие люди жили в определённые годы в Минске.

Но вернемся к Институту литературы им. Янки Купалы: после отъезда Алеся Михайловича в Москву некоторое время наш отдел возглавлял сам Виктор Антонович. Это были последние золотые денёчки на работе – вскоре В. А. Коваленко перестал быть действующим, а остался только почётным директором. Собственно, отъезд Адамовича и был началом конца благословенного Института литературы имени Янки Купалы АН БССР.

Потому что института с таким названием уже давно нет – я тоже, вслед за Алесем Михайловичем, оказалась в Москве к началу нового века, директором Института литературы в последние годы его существования был Владимир Васильевич Гниломедов. Почти сразу наш институт слили с Институтом языка имени Якуба Колоса – немногочисленные после серьёзного сокращения литературы «пошли в примак» к новому родственнику. Директором, естественно был назначен языковед. Но и этим не окончился процесс слияния – ещё два или три этапа, и теперь учреждение, в которое вошли остатки того, прежнего коллектива, называется «Центр по изучению белорусского фольклора и песни» – что-то в этом роде.

Пусть те, кто работает в этом центре сейчас, пишут эту новую историю.

А мне хочется закончить этот очерк о золотом времени существования Института литературы им. Янки Купалы стихотворением, посвящённым, естественно, Виктору Антоновичу Коваленко:

Воздать хвалу... Но снова трушу.  
И даже не лицом к лицу,  
Но тайны сердца не нарушу.  
Не сдуну с бабочки пыльцу...

Когда слова звучали лживо,  
Когда в сердцах копилась злость,  
Вы сохранили душу живу –  
О, как вам это удалось?

В литературу званых много.  
Пьянит известность как угар.  
Но в каждом видеть образ Бога –  
Вот высшей избранности дар.

И пусть подобье лишь отчасти –  
За нас на крест взошел Христос...  
Кто тяготится всякой властью –  
Тот до неё и впрямь дорос.

И вера в лучшее – опора,  
И не умрут добро и честь!  
... Слышны шаги по коридору:  
Скорей туда, навстречу взору –  
Свет ежеутренний – Вы есть!

## *Пусть Коля пришлёт мне рубль*

Давно пора записать несколько детских историй про Танюшу.

Когда папа вернулся из Америки, из Сан-Франциско, он привез кое-какие сувениры – на подарки всегда не хватало валюты, раздавались пустяки из самолёта: наборы пластмассовой посуды, рекламные проспекты. Тане было три года, ей повезло – Коля привёз из чайна-тауна ярко-зелёный, шитый золотом кошелёк красоты неописуемой. Он нравился всем: маме, Васе и Оле, но Коля (так Танюша с первых дней называла дедушку) отдал свой лучший сувенир единственной на тот момент внучке. Счастливая, она не выпускала его из рук целый день, а на ночь положила себе под подушку. Мы с ней спали в Москве в маленькой комнатке рядом с кухней, на неудобном диванчике, но в этот вечер почему-то её уложили на большую тахту в папином кабинете. Утром кошелек на месте не оказался. Ребёнок взволнованно метался между взрослыми, вопрошая: «Где мой каселёк?» Мы все были в недоумении, переглядывались: кто это решил так неудачно подшутить? Но никто не признавался. И до сих пор не признался. Уже и квартиру родительскую продали, ту самую, шикарную, на Тверской 9; когда разбирали все вещи, я всё надеялась, что его найдут, что в каком-то тайном уголке затерялся тот зелёный с золотом Колин подарок. Но не нашли. А фра-

за маленькой Тани «Где мой каселёк?» так и осталась в семейных анналах.

Вторая история – где-то следом за первой: в один из наших с ней приездов в выходной день папа решил прогуляться на Красную площадь и взять с собой Танюшу. Настоящее событие, может быть, вообще такое случилось один раз, потому и запомнилось навсегда. Все суетятся, мы с мамой одеваем-собираем Таню, чтобы она выглядела соответственно, ну, вот всё и готово, так нам кажется, но Танюша начеку – к этому времени она уже полноправный владелец собственной детской сумочки: как у мамы и у бабушки, полная всякой соответствующей чепухи. Для неё, как и для них, выйти на улицу без сумки невозможно, и она начинает причитывать: «А сямка, а сямка!» И тут папа проявляет свою непреклонную мужскую волю: «Никаких сумок!» – сквитавшись, как я думаю теперь, с мамиными сумками и долгими сборами. Состоялось ли это эпохальное путешествие в центр Москвы, на ту самую Красную площадь – не помню.

Было ещё одно путешествие маленькой Тани на Красную площадь, на этот раз с бабушкой, с Батяней, как она её называла. Всё это происходило во время наших приездов из Минска в Москву, потому так и запоминались. Эту историю я знаю в основном с Таниных слов: около входа в ГУМ мама сказала ей: я тебя здесь подожду, а ты сама пойдй посмотри смену караула около Спасских ворот. Шустрая маленькая Таня побежала через площадь к воротам, её можно было видеть на всём пути, потому что народу на площади было немного, и вдруг не столько многочисленная, но шумная, пёстрая группа иностранных туристов заслонила от мамы детскую фигурку в клетчатом платице. Мама занервничала, засомневалась: не побежит ли Таня за иностранцами, не попытаются ли они приманить её жвачкой или ещё чем-нибудь? Иностранцев в Москве тогда можно было встретить нечасто, а все дети (разного возраста) мечтали об импортной жвачке, тут мама была в курсе, даже очень...

И она оставила место встречи, которую назначила Тане, и сама побежала за шумной толпой. А Таня тем временем вернулась на то самое место и не увидела бабушки. Странно! Куда Батяня делась? Таня недавно рассказывала мне свои тогдашние ощущения: «Скорее всего она, то есть бабушка, не утерпела и зашла в ГУМ». Туда маленькая Таня и направилась, в отдел тканей на первом этаже у входа, был еще второй этаж с лифчиками, но Таня боялась заблудиться. «Вы не видели тут мою бабушку?» – спросила она ближайшую продавщицу, сворачивающую рулон шёлковой пёстрой ткани. «Ой, девочка потерялась! – заголосила продавщица, призывая к себе своих товаров – Надо скорее вызвать милицию!» Таня услышала о милиции и быстренько ретировалась обратно, на улицу. В принципе она знала направление дороги к дому – Тверская 9 была совсем недалеко, но одно дело знать дом с виду, а другое – этот адрес назвать, потому что в Москву она только приехала и адрес этот её не заставили заучить, как минский, где она постоянно в это время жила! А уж побывать в милиции, откуда, если не знаешь адреса, быстро отправят в детоприёмник – это она и тогда понимала – ни за какие коврижки! Оставалось самой тихонько двигаться в предполагаемую сторону дома, не привлекая по возможности внимание встречных и надеясь избежать встречи с милицией. Но тут её сомнения развеяла налетевшая на неё бабушка. «Вот ты где! А я тебя ищу-ищу! Какое счастье, что ты нашлась – мама бы меня убила!» – чуть ли не со слезами восклицала она. «Это кто ещё потерялся – хорошо бы уточнить, – думала Таня. – Я-то была на месте, а где была ты?. Не такая я дура, чтобы бежать за иностранцами,» – но не высказывала эти мысли вслух, зная, что детское слово против взрослого вряд ли потянет. Ещё неоднократно в тот вечер выслушивала она историю, как она заблудилась на Красной площади – молча, без комментариев, и только через годы рассказала сама мне свою версию случившегося.

Следующая история случилась через несколько лет, когда Танюша пошла в первый класс, а я поехала на

осеннюю сессию третьего курса Литинститута. Знакомые мне мамы, Лена Халипова или Наташа Ясень, в этот год, когда Леша и Серёжа – Танины ровесники – шли в первый класс, приурочили очередной отпуск к началу сентября и целый месяц помогали своим сыночкам адаптироваться в новой среде и в непривычной обстановке. Танюша осталась с Олегом и свекровью, которые отпуска не брали, ей пришлось самостоятельно разбираться со своими проблемами. После уроков шла она в группу продлённого дня, где насильно укладывали спать, как в детском саду – короче, ей было невесело. И однажды в нашей московской квартире раздался отчаянный телефонный звонок: «Пусть Коля пришлёт мне юбль!! – кричала (не плакала) она в трубку – Мама, скажи Коле – пусть он пришлёт мне юбль!»

Конечно же, я была в недоумении, попросила её позвать папу к телефону и спросила Олега: «Ты что, не можешь дать ребенку рубль?» – «Пусть она не выдумывает, дал я ей рубль на завтраки!» Но Таня вырвала у него трубку с тем же возгласом: «Пусть Коля пришлёт мне юбль!»

Как рассказала она потом мне, Олег дал ей рубль мелочью, а когда она сорок копеек отдала на завтраки, ровно сорок копеек ей обратно отдал, а не одной бумажкой, как Тане хотелось. Именно это переполнило чашу её терпения: мама уехала, никто не помогает с уроками, никто ничего не объясняет – ладно, это можно пережить, но не без денег! Значительно позднее, то есть почти совсем недавно, когда её друг американец Ричард Дорфман услышал эту историю, он понял её так: рубль – это безопасность, секьюрити. И рассказал свою историю – как ему, четырёхлетнему, сосед предложил за деньги собирать в сезон клубнику на его поле, как долго, нестерпимо долго тянулся день работы, за который ему полагалось 15 центов, как в конце работы надо было предьявить ручки и язык, и если они были сильно перепачканы соком, то денег выдавалось меньше. Зверские условия! «Я терпел эти мучения, потому что очень

хотел регулярно покупать комиксы и шоколад, а родители денег на такие пустяки не давали... А ты что хотела купить?» – спросил он Таню

А вот маленькой Тане так важно было, чтобы именно Коля (так называла она дедушку), главный держатель семейных капиталов и кормила власти в семье (\*почему, кстати, слово «кормило» исчезло из политического лексикона?), признал её суверенность и лично прислал ей пресловутый рубль. Только это могло примирить ребенка с суровой действительностью, только это: «...ведь совсем не одно и то же – просто какая-то малышня с горстью мелочи в кармане или вполне самостоятельный «человек с рублём!»

Размышляя на досуге про её теперешние объяснения, я поняла, кажется, почему так важен был для первоклашки именно бумажный «юбль». Стала понятно, что в некотором роде она относилась к нему как к документу, как к пропуску в самостоятельную жизнь: ладно, вы меня кинули на произвол судьбы (это о моём отъезде), самой себе предоставили, так оставьте документ, удостоверяющий мою независимость в глазах окружающих. Она видела не раз, конечно, паспорт, пропуск или иные бумажки, которые взрослые бережно хранили в сумочке и показывали, когда это было необходимо. И вот для неё таким удостоверением личности представился рубль (или то, что предьявляется при его отсутствии).

Дядя Паша, папин младший брат, последний из четырёх братьев Турбиных, вспоминал не так давно, что самым главным событием и развлечением их великодворского детства была ежегодная ярмарка: «Чего там только не было: катанье на лошадях, ларьки, палатки со всякой всячиной, глаза разбегались. Всего хотелось... Нам с Петром – двум младшим – давали в праздник по двадцать копеек, Ивану – второму по старшинству брату, тоже только двадцать, а вот Коле – целый рубль!» И неизжитая детская обида ощущалась в его интонации даже совсем недавно, перед кончиной – фактически. И не этот ли неразменный ярмарочный рубль – знак признания стар-

шинства в семье и ответственности – настойчиво требовала папина старшая внучка – маленькая Таня?

Говорят, все маленькие дети талантливы, но каждый из них талантлив по-своему. Вот несколько перлов маленькой Тани, когда она впервые пошла в детский сад. Дома её спросили, кого там больше – девочек или мальчиков? Она ответила – девочек много как покупателей, а мальчиков мало как продавцов. И ещё – это она изрекла через некоторое время, осмысливая полугодовое пребывание на своей детсадовской каторге: «Я думала, что главное – это понравиться воспиталкам, а оказывается, что гораздо важнее понравиться детям». Вот так сразу и в самую суть.

И она же спросила меня однажды: почему ты не любишь Миру? Мира была её бабушкой и моею свекровью. Она умерла скоропостижно в первый же год, когда Таня поступила в МГУ и уехала из Минска. Но задолго до этого, года в четыре Танюша задала мне свой неожиданный вопрос, после очередного визита Миры к нам на Антоновскую. Я всегда была девушкой вежливой, а уж тем более с мамой моего мужа. И поэтому с хорошо разыгранным удивлением спросила: а почему ты так решила? И Таня вполне по-взрослому аргументировала: «Потому что ты каменеешь, когда она приходит. А ведь она так любит меня!»

И я вдруг поняла, насколько она, моя маленькая девочка, права; память зафиксировала (почему-то всегда помню, где именно мне пришла в голову важная мысль). как иду пешком по Минску к Центральному гастроному, угол Энгельса и проспекта Скорины, и осознаю: да, Мира любит Таню как никто; она любит её даже больше, чем Олега, своего единственного сына. Так, как мои папа и мама вряд ли будут всегда её любить, потому что я – не единственный ребёнок и они будут не менее любить детей Наташи и Васи, а вот Мира любит свою единственную внучку самозабвенно. И вдруг будто упала какая-то стена внутри, полюбила свою свекровь всем сердцем. Что удивительно – вполне взаимно и до самых



последних её дней. Даже Олег заревновал, когда почувствовал с удивлением, что произошло.

Но самая интересная история называется «Папка дело» – перед самым Новым годом, когда Таня училась классе в третьем, мы с ней оказались в ЦУМе, возможно, шли от Богдановых, и я сказала: «Что ты хочешь, чтобы я тебе подарила? Выбирай!» – и обвела квадратное стеклянное пространство широким по возможности, чтобы никого из покупателей не задеть, жестом. Я думала, мы устремимся в разукрашенный ёлочными украшениями отдел игрушек, или туда, где висели вполне даже ничего, нарядные платица, но Таня оглядела всё это великолепие скучающим взглядом и устремилась в дальний угол, где при полном отсутствии покупателей были разложены школьные принадлежности. Но их тоже моя дочь миновала, и только около канцелярских принадлежностей стала усиленно рыться на полках: «Вот!» – и вытащила на свет свою добычу. Это была ужасная, серая, из прессованного картона папка с белыми тряпичными завязками, на обложке крупными чёрными буквами написано: «ДЕЛО».

Точно такие лежали на каждом рабочем столе в Институте физики, в Институте генетики и в последнем моём любимом Институте литературы, олицетворяя собой скуку делопроизводства, к которому не тянуло никого из моих знакомых. И потому так странен был выбор новогоднего подарка моей дочерью. Однако стоила папка копейки даже по тем безденежным временам, и, даже не глянув на прочие блестящие заманки, Таня заспешила домой.

Вспоминается, что в ноябре месяце, после настойчивой просьбы жить круглый год в Крыжовке (не могла я это организовать тогда, не по силам мне это было), Таня оказалась в больнице, в привилегированной Лечкомиссии, откуда нас не успели выписать после отъезда родителей в Москву, с энтероколитом. Она вытерпела все ужасные процедуры с глотанием резиновой трубки, лишь бы не ходить в ненавистную школу.. И вынесла из

больницы неоценимый опыт: в больнице не лечат, а ведут учёт больных; поэтому, вернувшись, позвала к себе Ирку Швед – соседку и одноклассницу – и начали они с присущим возрасту азартом играть в больницу. Танин больничный опыт подсказал ей, что главное в любом деле – учёт, в данном случае это означает составлять списки больных, чтобы потом подшивать их, то есть эти списки, в папку «Дело». Поэтому и мечтала такую фирменную папку иметь.

Чтобы не выдумывать фамилии больных, Таня считывала их с полок нашей библиотеки; помню, шли в списках фамилии: Пушкин, Мицкевич, Китс, Шелли, Элюар – в тот момент на уровне её глаз была серия «Шедевры мировой лирики», аккуратные, по размеру подобранные томики.

И уже когда Таня жила в Москве более десяти лет и она снимала самую неудачную из трёх, однокомнатную квартиру на метро «Молодёжная», выходим мы с ней как-то из дома на улицу, я вижу в её руках нарядные красные папки из дерматина с выпирающими пружинами скоросшивателей. Таня спешит, она озабочена, наконец-то она попала на своё место – нашла работу в бизнес-центре строящейся тогда гостиницы «Мариотт», а меня вдруг озарило: вот оно, инкарнация папки «Дело», привет из того школьного Нового года, вразумительный знак судьбы.

Как рано можно диагностировать наклонности ребёнка, в его детских предпочтениях увидеть предназначение, в странных поступках маленького человека. На большинство моих ровесников, разгильдяев, бывших студентов-физиков или литераторов один вид пресловутой папки «Дело» наводил и наводит непроходимую скуку и тоску! А вот Таня обладает редким талантом – административным, и занятия документацией для неё дело увлекательное и чуть ли не романтическое.

Ещё несколько примеров из Таниного детства: когда дочка ходила ещё в детский сад, её воспитательница попросила меня прийти с утра, чтобы помочь ей сделать стенгазету (кому и зачем нужна была эта газета – исто-

рия умалчивает). В группе дети завтракали, шумели более-менее равномерно, не отвлекая моего внимания от листа ватмана, как вдруг раздался Танин крик: «Она положила мне самый большой кусок хлеба! Сейчас же забери обратно!» Оказалось, что дежурившая в тот день Майка Глозман из нашего дома, давнишняя Танина «подлюжка», положила на тарелку моей дочери неровно отрезанную горбушку – чуть ли не четверть буханки чёрного хлеба. Дочка, очевидно, рассчитывая на мою поддержку, буйно протестовала. Кажется, ей заменили этот ломоть на более компактный. Шёл 1975 год от Рождества Христова.

А в 1947 году, когда я ходила в Ленинграде в детский сад, пришедшей за мной маме я рассказывала: «Повернулась в одну сторону – смотрю, хлеба нет! Повернулась в другую – а уже и супа нет».

Вот фраза из школьной жизни – девятый класс, классное сочинение на тему: «Пути духовных исканий дворянской молодежи в романе Льва Толстого «Война и мир», и Саша Луцевич через весь проход громко шепчет, обращаясь к Тане: «Артуска! А князь Андрей – он был кто? Простой крестьянин?»

Чуть не забыла записать одну очень важную историю из наших приездов в Москву на сессии в Литинституте: летняя сессия пятого курса, а Танюша только что перешла во второй класс и умеет писать, вернее, печатать на машинке. В первый же вторник, в семинарский день стало известно, что поэт-лейтенант Коля Грищенко из нашего семинара, служивший до этого в Радошковичах и периодически заходивший к нам в Минск в гости, срочно переведён из Белорусского военного округа в Германию и потому отсутствует, а приедет только осенью. Известие это озадачило семилетнюю Таню, вернувшись домой, в Минск, она села за пишущую машинку и бойко застучала по клавишам: «Дорогой товарищ Грищенко! Привезите мне пожалуйста побольше жувачек и переводных картинок!». И подписалась без претензий: «Руководитель семинара Сергей Поделков». Учитывая,

что приехать Коля Грищенко должен был уже на защиту диплома, успех замысла моей сообразительной дочки был практически гарантирован.

Но почему Танюша просто не написала дяде Коле Грищенко, который неоднократно заходил к нам в Минске в гости? Жувачки и картинки представлялись, вероятно, моей дочке такой ценностью, что ей было понятно – для неё и для меня он стараться не будет. Нужна какая-то заманка, цена вопроса не менее чем диплом.

Не предусмотрела она только одного – как заказанные жувачки и те самые картинки – практически валютные ценности детских лет – она получит в собственное распоряжение? Наверно, надежда была на Сашу Испольнова, сына Сергея Александровича.

Как вы понимаете, персональных компьютеров не было и в помине, а вот роскошную, маленькую, легкую пишущую машинку мамочка мне подарила год назад, и Таня освоила её даже быстрее меня. Но желаемых подарков не получила – Николай удивился, но, желая угодить шефу, решил не дожидаться приезда, а послать просимое почтой. Саша мне потом рассказывал, как удивился странной присылке Сергей Александрович, отдал Саше, а тот жвачки меланхолически сжевал, Тане достались два фантика. А переводные картинки с обнажённой натурой, предназначавшиеся для наклейки на машины, были передарены кому-то из крайне редких тогда счастливых обладателей собственного транспортного средства.

Но проявленная маленькой дочерью изобретательность ума очень пригодилась ей во взрослой жизни.

## ПЕРЕД СНОМ

А этим взрослым – что им надо?  
Зачем укладывают спать?  
Без нас на кухне, полной чада,  
Во что теперь начнут играть?

Уже и форточка открыта:  
За ними нужен глаз да глаз...  
Заплакать, что ли? И сердито  
Мне закричат: «Иду, сейчас!»

И та, что мне казалась мамой,  
Хлебнёт из склянки на столе –  
Вдруг станет ведьмой страшной самой,  
Взовьётся в небо на метле...

И то ли ведьма, то ли птица  
Неслышно сядет на кровать  
И скажет: «Доченька, не спится?  
Зачем так страшно ревновать!»

## Разносчик телеграмм

Вот он скользит по Тверской той удивительной походкой клоуна Славы Полунина, еле касаясь земли, плавно перенося центр тяжести с пятки на носок, как и тридцать лет назад. Нет, тогда эта улица называлась, конечно же, улицей Горького. Папа получил квартиру в Москве, в самом начале улицы Горького, на восьмом этаже массивного сталинского дома, первый этаж которого облицован теми самыми глыбами гранита, который, по преданию, привезли из Германии в начале войны, чтобы соорудить из них трибуну для Гитлера, предполагая, что Москва будет им взята к ноябрю... Сейчас в этом доме, на углу располагается четырёхэтажный центр фирмы «Самсунг», а тогда, в 1970 году, был огромный знаменитый универмаг – аналог ленинградского магазина «Смерть мужьям». Только что, в сентябре, в Минске родилась моя Танюша. Её привезли из родильного дома сразу в квартиру родителей на улице Карла Маркса, в том самом розовом каменном угловом доме с нелепыми вазами на коньке крыши. Первые дни её, малюсенькую, боялись купать в разлатой цинковой ванне – меньше в магазине не нашлось. В общем, обстановка военного времени. А тут звонок в дверь, пришла чета академика Фёдорова: смотреть квартиру. Несмотря на все наши протесты, жена Фёдора Ивановича, Рина Александровна, врач по профессии, мило улыбаясь, проговорила:

«Вам всё равно скоро эту квартиру освободить; вот мы и пришли посмотреть – подходит ли нам? Могу кстати и посмотреть ребёночка». Не помню – до или после первого купания случился этот неуместный визит; покой и так нам тогда не снился.

Переезжали родители в Москву в начале лета, первые десять месяцев Таниной жизни отчий дом в Минске ещё существовал. В эту напряжённую зиму был написан автореферат диссертации, а в марте 26-го числа состоялась моя защита. Пока шло заседание Учёного Совета, лучшее мамино платье-джерси, которое было мне выдано на торжественный случай, промокло на груди – я кормила дочку грудью ещё год после защиты. Только в марте следующего года, когда я впервые приехала с полуторагодовой Танечкой в новую родительскую квартиру, мама заставила меня отучить её, бедняжку, от материнского молока. Собственно, отъезд родителей из Минска в Москву был для меня тем самым отлучением от родительской груди, на двадцать девятом году жизни.

Квартира 53 обживалась постепенно, папочка очень ею гордился и, прежде чем перевезти в неё маму и Васю из Минска, приводил квартиру в порядок почти год: вдоль стен были собраны специально заказанные вильнюсские книжные секции, главное папино приобретение на этот раз. Когда-то, в 54-ом, переезжая из Ленинграда в Минск, он гордо впервые купил всё новое. Теперь мебель, которая стояла прежде в минской квартире, была перевезена в новую, ещё не обжитую, чужим духом пропитанную квартиру. Возможно, дело было в том, что квартира в Минске была совсем новенькой, работы доканчивались строителями перед самым нашим въездом, а в этой, большой, барской, ещё жили тени чьих-то страстей: души прежних хозяев долго не покидали обжитое место. Много, много понадобилось лет, чтобы её обжить, вдохнуть новый дух, заполнить своими запахами и чувствами.

Зато потом – какое это было блаженство по приезде из Минска проснуться в маленькой комнатке рядом

с кухней, в последний день старого года: в кухне уже слышны голоса, папа варит овсяную кашу, мама ворчит: почему бы не сварить гречку для разнообразия? И эта привычная воркотня так успокаивает, так греет! Танюша первая выскакивает за дверь, звонко выкрикивая утреннее приветствие; дольше нельзя притворяться спящей, пора вставать и включаться в общий хор.

Вот тогда-то и стал появляться в дверях квартиры этот странный человек: папа почему-то прозвал его Мулей, он разносил телеграммы. Звонок в дверь – и вот на пороге нелепая, милая, незащитная фигура, у него гордо вздёрнут подбородок, он молча протягивает листок бумаги: распишитесь. Без слов передаёт бланк с телеграммой, и медлит лишь пару секунд – и если никто ничего не съёт ему в согнутую ковшиком ладошку, исчезает тихо, как привидение. Не помню, пользовался ли он лифтом – наверно, приезжал на лифте, кто же пойдёт пешком на восьмой? Но так бесшумно закрыть-открывать дверь никто больше не умел!

В то время нам часто приносили телеграммы, и папа постоянно требовал, чтобы мелкие деньги были под рукой, неудобно просто так, с пустыми руками отпускать человека. Мы с Таней и Олегом жили по-прежнему в Минске, а в Москву наезжали не реже чем два-три раза в год. Возможно, мы тоже предупреждали о своём приезде телеграммой, однако чаще звонили. Но приезжали всегда на праздники, и телеграммы чаще всего были праздничными, поздравительными – от папиных родственников из Рязани, из Севастополя (мамины родные, те, что ещё были живы, обитали в Москве), от друзей родителей, оставшихся в Минске... Тогда, в семидесятые годы прошлого века, телеграммы были привычны, и тот, кого заочно прозвали Мулей, частенько возникал на пороге родительской квартиры по улице Горького.

А потом жизнь пошла то ли быстрее, то ли в другую сторону, но телеграммы вышли из моды, привычные праздники отменили, и теперь появление Мули на пороге вызывало лишь тревогу, однако не помню ни од-



ного плохого известия, которое было бы связано с его появлением. Сам почтальон ничуть не менялся, но уже никто не спешил дать ему какую-нибудь мелочь, разве что сообщение, им принесённое, было действительно радостным.

Всё шло своим чередом, Таня выросла, мы с ней по-прежнему приезжали в Москву на праздники, с тех самых пор, как совсем маленькая она как-то сказала: «Поехали в Маху!» Мы и зачастили. Олег ездить перестал, ему надоело тратить на поездки все деньги, не имея из-за этого возможности приобрести никакой обновы, а ведь у себя на работе он слыл известным модником!

А вот Муля всегда был одет идентично: в тёмное, бесформенное, однако пристойное одеяние. Точно так же он одет и теперь – несколько месяцев назад я увидела его скользящий призрак на Тверской – было лето, под ногами асфальт, а не лёд, как сейчас. Сразу сообразила, что до этого я ни разу не видела его на улице, только на пороге той квартиры, где год назад заснула навсегда мама, из которой десять лет назад вынесли папу... Уже восемь лет я живу в Москве, не в той, конечно, родительской квартире на Тверской, а в чудесной однокомнатной квартирёшке около метро «Динамо». И бездомной давно уже себя не чувствую, как в то время, когда Танюша в течение нескольких лет снимала жилплощадь то на «Речном вокзале», то на «Молодёжной», то на улице Пилота Нестерова. Сейчас она перебралась на Тверскую; бывая у неё каждый практически день, однажды я встретила на улице бывшего разносчика телеграмм. Сразу просто не поверила, встретив его живого – и тогда, в счастливые времена, он был далеко не молод, хил, истощён: в чём, казалось, душа держится? А ведь совсем непростые годы прошли, и не таких людей сломали, унесли из жизни!

За прошедшие три десятилетия почтальон почти не изменился: рыжеватые, полуседые космы вокруг небольшой выпуклой лысины, острый профиль, взгляд обращён куда-то вверх голов, целенаправленная, сколь-

зящая походка, а в руках лёгкая папочка с телеграммой. Он куда-то спешит, но никуда не заходит. Первый раз я поняла, он – вестник! Конечно, не «посланник Гермеса в крылатых сандалях», скорее посланник Локи, скандинавского бога огня. О чём он хочет на этот раз меня оповестить? Смотрю ему вслед, и все мои приезды в Москву с маленькой Таней, счастливые годы жизни родителей в Москве, наши праздничные приезды – всё потекло перед глазами как на киноплёнке...

Одно было любопытно – почему он явился снова именно сейчас? Удивительно, но я стала его встречать довольно часто; время наших встреч было самым разным, регулярность пересечений не поддавалась учёту – обычно он меня обгонял, я смотрела вслед, и однажды заметила повёрнутую назад согнутую ладошку его левой руки. Как-то решилась и догнала, с извинением вложила в неё пятидесятирублёвую бумажку. Он деловито, без удивления поблагодарил на ходу, как и тогда, когда приносил телеграммы. Потом встретила его выходящим из подземного перехода, идущего навстречу. Пока вспоминала, что у меня только двадцать рублей на маршрутку и как не хочется идти пешком через Петровский парк по мокроте – он проскользнул мимо. И когда долго не встречала его, стала тревожиться: что с ним, увижу ли снова? Главное: что означали мои встречи с Мулей? Возможно, он хотел напомнить о счастливом времени в родительской квартире, потому что её решили продавать?

После некоторого перерыва он снова попался мне на глаза, скользя невесомо мимо недавно отреставрированного розового здания лужковского Моссовета, что опять вернуло к мысли о его особой природе. И десятка была под рукой, и ладошка согнута: он кивнул небрежно, не останавливаясь. Но почему-то успокоилась – всё идёт своим чередом, так надо. И весть, им сообщаемая, была всё та же: жизнь продолжается!

Нет, я была неправа, всё оказалось гораздо сложнее: боюсь, не расшифровано ещё сообщение, вернее, целый

ряд сообщений, которые он проносил мимо в каждую нашу встречу.

Он встречался по-разному: один раз зашёл даже в автобус, на котором я ехала от Белорусского вокзала, и возможно, это было в тот последний раз, когда посещала гостиницу «Лесная», перед тем как она окончательно отошла к Джонику. (Впрочем, это совсем отдельная история, может, оно и к лучшему, что так получилось, но об этом не здесь.) Так необычно было смотреть, как Муля скользил по проходу общественного транспорта.

Эта встреча была не последней. В субботу 30-го мая, когда уже подписан был пакт о продаже квартиры, и я думала – должен, должен появиться Муля, если я всё правильно понимаю, нужно лишь подтверждение. Оно появилось незамедлительно: я шла по Леонтьевскому переулку в недавно открытый пункт прачечной «Диана», а по другой стороне, навстречу, в летней голубой рубашке с закатанными рукавами заскользила знакомая лёгкая фигура, и папочка чёрная тонкая в руке, и беленький листочек с текстом телеграммы сверху: «Квартира продана». Когда он уже прошел мимо, я опомнилась и побежала его догонять, достала десятку из кошелька, вложила её в вывернутую наружу прижатую к спине ладонь. Тут он впервые на моей памяти подал голос, сказал доброжелательно и буднично: спасибо! Я бормотала что-то невразумительное, лишь потом сообразила: надо было сказать ему – я вас помню!

Чудные времена наступили! Во времена нашей юности, молодости и прочей взрослой жизни иметь дома пианино было не просто престижно – это был необходимый атрибут, придающий дому интеллигентный вид. К моменту водворения нашей семьи на Тверской никто из детей музыке не учился, хотя Вася часто упрекал маму за то, что она не заставляла его заниматься в детстве. В Москве он сам уже опробовал гитару. Потом появилась в доме Оля, она худо-бедно окончила музыкалку, пару раз присаживалась на табуретку у фортепиано, шутовски брэнчала «идёт зверьё на водопой», а

Вася подпевал, подыгрывая на гитаре. Сашу маленькую учить игре на фортепиано не сподобились, никто не прикасался теперь к клавишам, только мамочка иногда играла гаммы, и мне удалось однажды, в последние годы её жизни, вспомнить «Полонез» Огинского из прежнего, детского репертуара. А вот теперь, когда квартира продана и надо освободить её от вещей, никто не хочет это фортепиано к себе в квартиру взять. Но тут вмешалась сама судьба – в банке, в день подписания, я решила спросить Веронику, которая квартиру у нас покупает: может быть, вы оставите его себе? И она согласилась – какое счастье, какое облегчение! Таня делала мне «большие глаза», чтобы я не приставала, но дело было сделано, Вероника согласилась, все довольны... Невольно вспоминаются меткие слова сестры об одной нашей минской знакомой: «Мария Ивановна – святой человек, всё берёт, что ни дай!»

Та же история с книгами: ещё в Ленинграде, когда я училась в начальной школе, папа брал меня с собой, когда в выходные дни отправлялся по букинистическим магазинам – такое у него тогда было хобби. Папа неукоснительно пополнял свою библиотеку, а я начала собирать свою; с тех пор собирание книг стало главной не то чтобы страстью, но существенной статьёй расходов в моём бюджете, думаю, и в папином тоже. Чего только не было в его библиотеке! В студенческие мои годы в родительской квартире на Карла Маркса частенько забиралась я в этот шкаф без спроса, но всегда торопливо, и не могла охватить, оценить масштаб папиных книжных богатств. Только теперь, когда довелось мне проделать эту колоссальную работу по разбору несметного и разнообразного собрания, и для меня совершенно невероятно – как и когда папа сумел найти, осилил приобрести такие ценные редкие книги! Особенно поразило меня обилие старинных книг по биологии, о которых я не имела представления, пока занималась генетикой и радиобиологией, и ещё менее знаю о них сейчас.

А сегодня, когда мы шли с Танюшей выписываться, снова Муля пересёк нам дорогу, произошло это впервые на Большой Дмитровке. «Это Он – воскликнула я возбужденно. «Кто – тот человек в костюме?» – спросила Таня. «Да нет, вон же он, остановился у киоска». – «Не понимаю, о ком ты говоришь», – раздраженно сказала моя дочь. И я поняла, что скорее всего для неё он просто невидим.

– Это тот самый человек, который приносил телеграммы в папину квартиру, когда родители только переехали в Москву. И он совсем не изменился!

– Ну и что тут удивительного? Вот если бы он сделал что-то необыкновенное, например, из почтальонов стал миллионером – я бы ещё поняла, зачем на него стоит так пялиться.

– А для меня самое удивительное, что есть ещё в мире что-то устойчивое, неизменное... – так я уже не сказала, а просто подумала про себя.

Но сегодня утверждение о его неизменности опровергнуто – Муля вышел из перехода на Тверской возле Моссовета, но это был уже совсем не тот образ: и походка не летящая, он уже еле передвигал ноги, и борода отросла седая клочьями, вроде и папочка в руке, только нет былого задора. И не заглядывал он прежде в мусорные баки в поисках недопитых бутылок с колой или спрайтом. Казалось, это и была наша окончательно последняя встреча...

Прежнее наше владение, папина квартира, не только продана – уже отдали ключи и никто из нас не имеет права в неё войти. Потому и разносчик телеграмм, тот, кто приносил вести в нашу бывшую квартиру, сдулся словно воздушный шарик, выполнил свою миссию, исполнил ведущую роль.

Но примерно через полгода я снова его встретила. Не далее чем позавчера, 31 мая, через подземный переход я шла в храм Козьмы и Дамиана, что возле памятника Долгорукому, и по дороге вдруг замечаю его, нашего Мулю, на ходу заглядывающего в мусорную корзину

около книжного магазина «Москва», я побежала за ним, протянула бумажную денежку. Он мимоходом, на ходу бросил мне «спасибо». Тут уж я побежала за ним, спрашивая: а как ваше имя? И он ответил не оборачиваясь: меня зовут Чудо...

Это и была наша последняя встреча.

На пяточке у телеграфа  
Есть заколдованное место,  
Толпа течет вокруг, как лава,  
Как дрожжевое бродит тесто.

И заключаются тут сделки,  
И учащаются тут стычки,  
И кто-то, сам белей побелки,  
Прижат к стене и просит спички.

Постой. Зачем скользить по спинам,  
Взгляни наверх – дай отдых взгляду:  
Дом громоздится исполином,  
Ритмичны окна по фасаду.

Внезапно вспыхнет обещаьем  
Закатный блик в окне у крыши,  
Густых садов благоуханье  
Всё ощутимее, всё ближе.

Рас слышать в гаме звук оттуда  
И различить в толпе прохожих  
Из тысяч встреч – единой чудо –  
Никто на свете не поможет.

## *Ты отпустил меня из Белорусии...*

Так начинала бы я письмо туда, откуда не возвращаются, моему первому мужу, после того как зимой, уже обосновавшись в Москве (получив прописку и диванчик у Тани на кухне), узнала из письма Наташи Ясень о смерти Кости Предко в конце сентября двухтысячного года. То есть практически в те же числа, когда было принято бесповоротное решение о переезде. Странно, но прежде, чем я письмо прочитала, оно выпало из рук и провалилось в щель лифта: беленький прямоугольник лежал на дне шахты как в незасыпанной могиле – пришлось вызывать мастера, чтобы достать его оттуда.

Мы не виделись перед этим с Костей год или полтора, не помню последней встречи – он приезжал обычно в Минск утренним поездом из Могилёва, куда переехал почти сразу после нашего развода заведующим лабораторией оптики в филиале института физики. Дочери последние годы жили отдельно, он с женой растил внука, но меня тоже из вида не упускал – будил периодически своими звонками. Я ему радовалась и досадовала одновременно – тому, что день уже распланирован и очень непросто будет его в это расписание вписать. Впрочем, он тоже бывал сильно загружен и перед отъездом снова только звонил. Иногда – ненадолго – все-таки забе-



гал: чтобы вручить подарок на давно прошедший день рождения или выразить соболезнование в связи с папиной кончиной два года назад... Но последний его приезд ко мне (будем считать, что этот и был последним) стал совсем уж необычным – даже для Кости Предко, завзятого чудака: чего стоили, например, его планы доехать на велосипеде из Могилёва до Сирии, куда вышла замуж его старшая дочь!

В тот последний раз он пришел какой-то расфокусированный, распаренный как из бани, и рассказал, запинаясь, что буквально вчера сделал то, на что собирался с силами последние лет десять – сходил к священнику, отцу Николаю из вновь открытого монастыря в Могилёве. Настоятель уже успел прослыть праведником, и потому Костя пошёл к нему на исповедь, чтобы покаяться во зле, когда-то мне причиненном. Никогда до этого он не упоминал, что бывает в церкви, скорее уж йога, метод Порфирия Иванова и всякие виды физической закалки были ему сродни.

Трудно передать моё недоумение, удивление, испуг, когда он мне об этом рассказывал: Тане, дочери моей от второго брака, было уже двадцать девять – вот как давно мы были разведены, а он говорил отрывисто, слова вылетали с трудом, и слёзы брызнули против воли, будто скрёб он ногтями незаживающую рану, и не хотел, и не мог притупить боль.

Значит, все эти годы Костя Предко помнил и не стремился забыть то, о чём я старалась не вспоминать: просто мысленно выстригла из плёнки памяти четыре года, несостоявшегося сына, наш развод. Впрочем, операция по склейке концов плёнки (любительские кинокамеры были в моде в годы нашей совместной жизни, а монтажные приспособления для вырезания и склейки были у каждой молодой технарской семьи!) удалась не в полном объёме – труднее всего было забыть именно развод. Костя Предко не хотел меня отпускать и сумел довести нелепость процедуры развода до абсурда – вот он стоит в застёгнутом не на те пуговицы пальто и ест немый

чернослив из неопрятного газетного кулька, отвечая на стандартные вопросы судьи. Шёл, кажется, февраль, наш самый неудачный месяц. По тому, как Костя Предко ел этот дурацкий чернослив из мятого кулька в давно не отремонтированной, обшарпанной комнате районного суда, где кроме нас с ним сидели еще безликая тётка-судья и вальяжная дама с фигурой контрабаса, мною приглашённый адвокат, стало ясно всем присутствующим – это я перед ним теперь и навсегда виновата!

Развод обдумывался и подготавливался мною подспудно три года, после того как ребёночка нашего с ним, того, поперечного, погубили при родах, вручную пытались помочь ему увидеть свет Божий, да неудачно, не вышло, доставали по частям. Так рассказали мне потом, когда я вышла из-под наркоза; «в феврале его рожала, я жива – какая жалость, скажут – умер сын...»

Но в двадцать два ткани быстро естественным образом восстанавливаются, а душевные раны затягиваются, неузнаваемо меняя картину мира.

Мы прожили с Костей после этой проклятой даты ещё три года; он был старше меня всего на курс, казался старше значительно, никогда не отлынивал от ответственности. Как стало понятно значительно позже, это и есть самое важное качество в муже, и, главное, всё реже и реже встречается в жизни.

Передо мной на столе Костина фотография тех лет – при переезде она неожиданно выпала из тома Киплинга. В один из последних приездов, уже неизлечимо больной, как я теперь понимаю, он для себя открыл хрестоматийное «Если» и прочитал мне вслух: «...когда в тебе всё пусто, всё сгорело, и только воля говорит – иди!». Стихотворение это и правда как для него было написано. На фотографии теперешними глазами увидела широкое мальчишеское лицо с узкими губами, острым подбородком, сейчас поправит указательным пальцем очки на переносице и спросит, смешно наморщив нос: «Точно?».

Был он заядлый турист-альпинист; наше сближение произошло во время турпохода, для меня первого и по-

следнего, непонятливых отсылаю к рассказу Набокова «Облако, озеро, башня», с него – не с рассказа, конечно, а с похода – весь этот ужас непонимания, несвободы начинался, и отрадно было прочесть через годы, что не я одна такой урод. Но и это уже в прошлом, а со снимка взгляд тревожный и вопрошающий: тот, прежний Костя экзаменует сегодняшнюю меня...

Тогда, пролежав почти месяц в больнице до родов «на сохранении», выйдя на волю, на грязный снег совершенно пустой, изнутри замороженной, я стала обдумывать развод. Мне казалось, что во всём виноват Костя, его твердолобость, его квадратная голова – как объясняли мне врачи, «головка плода» была слишком велика... Это высказывание, застрявшее в мозгу занозой, укрепило меня в нежелании иметь детей – от него, квадратноголового, убедило в теоретической невозможности правильно родить – я хотела (опять-таки ни с кем не советуясь!) обезопасить себя на будущее, найти разумное объяснение тому, что не в нашей воле.

Боже, какие же мы были дураки! Случилось мне после испытать на своей шкуре проклятость разлюбленного и виноватость разлюбившего, нет только ответа на вопрос – почему? Тогда, в юности, в плену стереотипов и клише (не пьёт, не бьёт, не изменяет – хороший, значит, муж) я мучилась над формулировкой развода – почему? Как объяснить миру, родным, близким и в суде, что я не могу больше, что мне снится, будто меня живую похоронили, что у меня зашиты губы суровой ниткой, обрекая на молчание, а ведь меня никто замуж не гнал – скорее отговаривали: так очевидно мы не подходили друг другу. Причина странного и скоропалительного брака была банальной – моя беременность – но эту тайну мы хранили как партизаны, пока, как говорится в одном детском стишке, «и под курткой, прячь – не прячь, стал животик словно мяч ...»

Распутать ту давнюю историю помог мне молодой белорусский прозаик Андрей Федоренко, с которым познакомилась и подружилась, когда уже покинула Бело-

руссию. Так вот, у Андрея самый первый сборник прозы открывается повестью «История болезни»; скомпонована повесть на манер «Героя нашего Времени», из дневников и писем уже погибшего к этому времени героя – сбитого случайной машиной ночью, когда возвращались компанией с танцев из соседней деревни. А происходит всё это с героем-студентом «на картошке» – мои сокурсники помнят эти поздние деревенские танцы под гармошку с бубном, неотвязный, однообразный мотив польки, эти «скоки – руки в боки» в резиновых ботах, после дня работы, до упада, а после несколько километров в темноте через поля. Почему именно запах картофельной ботвы и дыма будит тоску и с нею неразрывно связанную, как заметил ещё Михаил Лермонтов, странную к Родине любовь?

Написана была повесть Федоренко еще до тех крутых общественных перемен, которые меняют сознание глубинно; многое в мировосприятии Кости Предко, деревенского хлопца, не так давно осваивающегося в городе – когда мы познакомились, родители его недавно переехали в Минск из местечка Мосты, что под Гродно – стало мне понятнее. Кроме обычного женско-мужского непонимания недоучитывался в те годы явно выраженный у моего первого мужа белорусский менталитет – прежде нас и словам таким не учили!

Свадьба праздновалась у Кости – его родители жили на Слепянке, в собственном одноэтажном деревянном домике на горе, по улице Запорожской: помню наспех купленное свадебное платье из набивного белого капрона, розовые флоксы – с тех пор их запах неизменно тревожит без желания вспоминать; две моих однокурсницы, пара его дружков, родственники со стороны жениха... Когда, проводив гостей пешком до парка Горького, мы вернулись на Запорожскую, родители его уже спали, за забором привычно и беззлобно ругался матом сосед. В темноте ругань эта звучала как-то слишком отчетливо; кто поверит мне, что я слышала её впервые вот так, в полный голос? Потому и запомнила как увертюру перед

началом семейной жизни. Мы жили в летней пристройке год; то есть из центра города, из дома напротив цирка, из профессорской семьи с привычным, регламентированным, изрядно надоевшим укладом, я, желая вырваться на свободу, окунулась в нечто совершенно чуждое, непонятное – неужели это навсегда? Острое любопытство к жизни, подсознательное стремление проникнуть сквозь поверхностный, искусственный слой к страшноватой, но манящей её сути толкало в молодости на рискованные эксперименты, главным из которых и был мой первый брак.

Проходная фраза из случайной книги Дорис Лессинг, «Марта Квест» – о девушке, которая хочет «как можно скорее и как можно романтичнее потерять невинность», стала девизом после первого курса, однако случилось это всё-таки в двадцать, за год до свадьбы! А вот у Кости я оказалась первой, о чём узнала значительно позже, случайно проговорился, и его мрачность в первые месяцы совместной жизни получила хоть какое-то объяснение. Это время было для меня как пребывание в исправительно-трудовой колонии – так мне казалось тогда. Это при том, что мне не приходилось ничего делать по дому – Костя взял всё на себя, я тогда работала над дипломом, бегала по лаборатории фотохимии, прижимая сосуд Дюара к выпуклому животу, а родственники и знакомые донимали при встречах вопросом: «Ты счастлива?» Только свекровь повторяла нечто вполне здравое: «Не бери до головы!»

Потом мы переехали с Запорожской и стали жить отдельно; после больницы и слякотной зимы наступила весна, оттепель сменилась застоєм в ту зиму, когда я не сумела родить сына, но окончила физфак – и мои университетские друзья-приятели стали собираться у нас. Последующие три года вспоминаются как сплошная расслабуха, гости, застолья, дешёвое сухое вино: «За рубль две, а пьётся как за рубль семь!» – одно непрерывное лихорадочное веселье, компенсация за послесвадебный шок. Окунувшись с головой в тёмные воды жизни, на-

пугавшись до смерти от холода и непонятности, я смогла вынырнуть и, как жук-плавунец, легко заскользить по поверхности. Бывший КВН-щик Миша Полозов (он встречался в финале с самим Гусманом !) поселился напротив нас, на Антоновской, женился на Инне Немановой, одной из свадебных моих подружек; их бездетный брак продержался ненамного дольше нашего, все числились в аспирантуре, только Костя защитился в срок.

На задах нашего дома, через квартал, проходила железная дорога, поезда на Москву там проходили, станция Минск-Восточный, подвесной деревянный мост над путями вёл в Заводской район, где мы до этого жили; в морозные ночи тяжёлый стук колес, посвисты электричек были отчетливо слышны:

А искры улетают из топки паровоза  
И, тихо замирая, гаснут за трубой,  
В глазах твоих тревожно вспыхивают слёзы,  
А губы шепчут: что же делать мне с тобой?

Главным содержанием тех лет были песни – под гитару и без, с вином и с чаем, бедный студенческий стол и вольные разговоры, от них и пьянели более, чем от дешёвого сухого; надо сказать, в нашей компании никто никуда не загремел. Костя был за порядок – за Мао, даже за Сталина, не боясь быть непопулярным, кроме того, со слов своих родителей он говорил то, о чем сейчас не пишет разве что ленивый – что партизаны тоже грабили местных, переварить это было для меня тогда не под силу... Первые ростки возрождения национального духа, неудавшаяся попытка, разговоры на мове, которыми щеголяли молодые белорусские артисты – муж мой просто загорался от них!

У него были разные глаза – один светло-зелёный, другой карий, как у Василя Дятлика из романа Ивана Мележа «Люди на болоте», только тогда я не знала и не любила этого романа так, как сейчас. Костя и характером был вылитый Дятлик – такой же упёртый – и хозяйственный, бережливый, даже скупой: с первого месяца

совместной жизни стал откладывать деньги, составлять письменные планы на год, на месяц, на жизнь, действуя мне на нервы, хотел вычислить все наперёд. Судьба надо мной посмеялась – моя дочь от другого по характеру вылитый он! С интересом, с большим интересом отнёсся мой первый муж к моему вхождению в белорусскую литературу – мы уже к этому времени расстались, и давно.

Он стал звонить мне по утрам последние десять лет, когда Таня уехала учиться в Москву и я жила одна. Постепенно я привыкла: есть человек, который делит со мной ответственность за наше прошлое, за тот короткий отрезок, пока мы были вместе – короткий, но крайне насыщенный, ему важно, что все те испытания были не зря. Его присутствие (на расстоянии!) давало мне возможность мысленно опереться на пресловутое мужское плечо, жилистое и чугунное при встрече, но через десять даже минут отпрянуть с облегчением (нет, это правильно, что мы не вместе!), переведя дыхание, нести свой груз дальше...

Дятлик у Мележа наделён способностью сильной страсти, но крайняя степень осторожности, редкая скрытность не позволяют ему выразить эту страсть открыто, отсюда его корявость, угловатость. Костя прожёт кислотой мою одежду в платяном шкафу, когда я ушла от него – жест отчаяния, как и тот случай, когда он ходил с топором под пальто на железнодорожный мост, чтобы встретить моего предполагаемого любовника, да уберёт Бог. Он говорил в свой последний приезд, что именно этот далёкий эпизод побудил его покаяться. Теперь моя очередь:

Юность как побег через подвесной мост над пылающим морем, над железнодорожными путями, над теми, что пролегали за нашим домом на Антоновской: клубы морозного воздуха смешиваются с паровозным дымом: вот его поседевшие кудри, стёкла очков запотели и мешают увидеть того, кто энергией своей странной, утомительной, пожизненной любви до конца века не отпускал меня из Белоруссии.

\* \* \*

Доброта ли мягкотелость?  
Поступала как хотелось,  
Из души моей обиды  
Время смыло как волной.  
Но сквозь годы, как сквозь чашу,  
Продирается все чаще,  
Не теряется из виду  
Взгляд обиженного мной.



## Сын по переписке

А теперь я должна рассказать одну давнишнюю историю, которая и сейчас, по прошествии сорока лет, кажется маловероятной.

Первый год работы в Институте генетики после окончания университета был рутинным и безрадостным; жизнь кончилась, время остановилось. И вдруг ближе к лету, серой минской весной прозвучал звонок из комитета комсомола АН – вы включены в состав группы, которая отправляется в Польшу в июле месяце! Жизнь сразу замерцала, стала многоцветной; и деньги необходимы были самые минимальные, сто двадцать рэ, как на юг съездить...

Самое ошеломительное впечатление от Польши тех лет были студенческие клубы – чаще всего они располагались в подвальчиках университета или других учебных заведений, с маленьким баром в глубине: там продавался только чёрный кофе маленькими чашками, главный деликатес и диковинка тех лет. Дух демократизма – вот что особенно привлекало, там было весело и дышалось легко, оформлены стенки были смелыми, явно самодельными рисунками; не за деньги нарисованными, а так, для удовольствия – в Минске тех лет ничего подобного не наблюдалось.

Не помню, чтобы за вход взималась отдельная плата, впрочем, мы всегда приходили группой, возможно, всё

проходило в порядке студенческого обмена. И ещё – у нас была замечательная гид, Данута, студентка филфака Варшавского университета – казалось, больше всего на свете она любит танцевать, и потому каждый вечер после всех экскурсий и обязательных программ мы оказывались в очередном клубе и танцевали до упада, «ан-лимитед», как теперь говорят. Вот тогда и заболела я Польшей.

На компьютере у меня каждое утро поют «Чырвоныя гитары», и даже в самые хмурые, самые безрадостные минуты звуки польской речи приводят меня в приятное расположение духа, а под песенки с диска, купленного во время последней поездки в Лодзь, не могу не пританцовывать, улыбаясь. Не разделяю ностальгических восторгов по «Битлам», да и белорусские «Песняры», за исключением богдановической «Вероники», не очень волнуют, а вот любая песня знаменитой когда-то польской группы просто приводит в экстаз, окуная в юность.

В ту первую заграничную поездку я окончательно влюбилась в Польшу. До этого был журнал «Шпильки» с последней страницей, где скупо печатались «Плётки о панах и панях». Были стихи Юлиана Тувима и Леопольда Стаффа; блистательное польское кино – «Поезд» Анджея Мунка, «Мы – вундеркинды» Ежи Гофмана, «Мать Иоанна от ангелов» Ежи Ковалеровича. И самый из них самый – классик с первой же ленты, несравненный Анджей Вайда. Как по заказу, только что, сегодня, когда я пишу эти скупые строки, на широком экране ТВ старый-старый, но по-прежнему изысканный Вайда, представляя свою новую, прощальную, по его словам, ленту «Катынь», назвал себя последним могиканом классической польской школы. А мы в те годы смотрели все польские фильмы неукоснительно, ещё до первой поездки в Польшу, дождливым летом 1965 года.

Итак, мы приехали из Минска в Варшаву поездом, потом съездили во Вроцлав и в Лодзь. И снова вернулись в Варшаву – всё как в ритме танца, вернее, под мелодию Анны Герман «Танцующая Эвридика». Первые

дни я просто не могла есть от волнения, за завтраком мою порцию – а кормили нас в студенческих или заводских столовых без излишеств – с удовлетворением съедал толстый Боря Черников, брат моего одноклассника, известного школьного хулигана Женьки Черникова. Группа была чисто академическая – не помню, в каком именно институте работал Боря и кем, но многих я знала ещё до поездки. С некоторыми, например с Людой Дементьевой, дружила до самых последних лет жизни в Минске.

Тоненькая, круглолицая, с гладкими тёмными волосами, она походила на японку и была во время той памятной поездки самой молодой и хорошенькой среди нас; если надо было поднести кому-нибудь цветы от имени группы, Слава, начальник, всегда выбирал её. Она работала секретарём комитета комсомола Академии Наук и не заводила романтических историй в поездке. А у меня – старшего инженера Института генетики – реально крыша ехала, даже когда меня просто называли «пани» или «паненка». Среди новых знакомых поляки были просто «принимающей стороной», нечто вроде услуги, а вот на танцах можно было познакомиться не только с американцами или немцами, но даже с новозеландцами! А ведь казалось, что их вообще Жюль Верн выдумал. В действительности эти двое парней были смуглыми, кряжистыми и мелкокудрявыми; в дальнейшей жизни я встретила одного поэта – туркмена из Мерва, точь-в-точь похожего на тех новозеландцев. Как мы понимали друг друга? А я только что сдала кандидатский минимум по английскому, и неплохо, как оказалось, нас учили!

Понравился мне за всю поездку один юноша – немец Клаус, блондин с правильной формой черепа, весёлый, заводной. Казался влюблённым. А я была в оранжевом платье, с приколотой веточкой цветного горошка. Но танцевать с ним согласилась после того, как выяснила – он из Дрездена, значит, из ГДР, не из враждебной нам ФРГ. Вдвоём с другом он ехал автостопом на юг, в Италию. Этой же ночью, проводив меня в гостиницу,

на прощание не поцеловал, а крепко прижался, укусил в плечо и ушёл не оборачиваясь. Правда, адресом мы обменялись ещё там, в клубе: вот и весь роман за всю поездку. В следующем году, получив на Рождество открытку от Клауса, собиралась поехать в ГДР. Но взамен предложили Болгарию.

Взбудораженная особым заграничным воздухом вольности, я копила деньги и мечтала о поездке всё равно куда. Однако что-то изменилось – поехать в Болгарию через год оказалось гораздо труднее, чем в Польшу: больше волокиты, бюрократии, недоверия. К тому же в Польшу была сформирована чисто академическая группа – для культурного обмена. А в Болгарию удалось попасть только в группу работников сельского хозяйства, да и то потому, что работала в Институте генетики. И поездка была назначена не на середину лета, как в Польшу, а две недели осенью, во второй половине сентября.

Разочарование наступило уже во время инструктажа – руководителем группы был назначен некто Саша, житель города Могилёва; на первом же собрании стало понятно, что у себя там, в Могилёве, он был, возможно, каким-то начальником, но в Минске бывал нечасто: это вообще был самый крупный город, который он когда-либо посетил. Близко поставленные бегающие глазки – как двуствольное охотничье ружьё, вот чем запомнился этот человек. Казался он мне тогда очень взрослым; сейчас я понимаю, что ему было где-то 28-30 лет. Короче – состав группы был удручающим: минчан, а вернее – минчанок, большинство, но все особи мужского пола были не из Минска. Нас разбили на пятёрки, каждую из которых возглавлял мужчина, и на этом инструктаже было объявлено о полном подчинении членов пятёрки её начальнику на всё время поездки; по-хорошему, тогда и надо было отказаться. Начальником моей пятёрки был назначен восемнадцатилетний сельский тракторист Витя, только что окончивший школу: под его началом оказалось четыре бабенции, жительницы Минска от 24 до 28 лет, все с высшим образованием: старшей

была юрист Лариса, я сдала два кандидатских минимума. Несмотря на удручающие условия, тлетворный воздух Запада уже проник в лёгкие, заграница была такой приманкой, что невозможно устоять. А впечатления от поездки в Польшу влекли и заманивали за кордон!

В Болгарии всё оказалось совсем не так, как в Польше: с одной стороны питались мы уже не в студенческих столовках, а в ресторанах, на мой взгляд – роскошно, хотя далеко не все тогда были согласны со мной. Вечером, после ужина в ресторане «Медведь» недалеко от Шипки, где кроме нас сидели гости из разных стран, вдруг раздалась команда начальников пятёрок: «Всем встать! уходим». И мы ушли строем на глазах изумлённой публики. Всё было сделано, чтобы выставить нас, русских, в самом невыгодном свете; постоянно было стыдно. Мы объехали горы, Пловдив и Софию, где хождение строем по улицам было особенно невыносимо.

В Софии я должна была встретиться с семьёй папиной аспирантки Ольгой Василёвой. Я созвонилась и получила приглашение на ужин, оставалось получить разрешение у Саши. Он сидел в своём номере не один, а с Борисом, комсоргом группы, и мне был устроен допрос с пристрастием, в оскорбительной форме. Напрасно я рассказывала, как Ольга, молодая аспирантка из Болгарии, пришла впервые к нам в Ленинграде в незапамятном 1948 году. Что она сама и её муж писатель Дженю Василёв – оба члены болгарской компартии. Что они с её дочкой Надей подолгу гостили у нас в Минске. Оба следователя смотрели на меня исключительно недоверчиво, мол, мели, Емеля, твоя неделя. И, выходя из их номера, я споткнулась на гладком паркете и упала, больно ударившись об пол запястьем правой руки. Однако разрешение посетить семью друзей моих родителей получила.

Семья Ольги кроме неё и мужа состояла из двух детей и бабушки – но ни Нади, ни Андрюши, к моему огорчению, дома не было; Дженю, их отец, объяснил мне, что они на свиданье, а «любовь – самое важное дело в жизни, не так ли?» Я не могла поверить, что отец семейства

может так говорить, у нас папа не поощрял никаких свиданий, мы всегда скрывали от него, если шли на встречу с юношей: говорили, что идём в кино или в театр.

Зато бабушка, мать Ольги, очень озаботилась моей рукой, сделала мне на неё компресс из лука. За чаем на низком столике мне было неудобно сидеть – ноги в модных тогда белых чулках с узором при мини-платье фасона «балахончик» оказались прямо на столе, под взглядами Дженю я краснела и ёрзала, к счастью, время визита было моими начальниками отмерено скупо.

Сам Дженю отправился меня провожать. До этой встречи я знала от мамы, что во время их с папой визита в Болгарию он за ней «волочился». Теперь, к моему удивлению, он вроде бы волочился за мной. Но меня поразило даже не это, а его фраза: «Вы, Люба, обязательно вернётесь сюда. И не раз», – сказал он мне на лавочке в скверике в центре Софии, под шелест сухих каштановых листьев под ногами. И это было одно из немногих предсказаний в моей жизни, которое исполнилось буквально – ни в одной другой стране я не бывала столько раз, как в Болгарии. Даже в любимой Польше.

После недели экскурсий и разездов по стране мы оказались в студенческом лагере под Бургасом, где должны были провести оставшуюся неделю; тут-то мы и оторвались. От полного подчинения начальникам пятёрок в первую очередь.

Сентябрь в Болгарии вообще-то тёплый, однако ночи очень даже холодные: днём мы загорали в дюнах, а ночью мёрзли в своих бунгало. Со мной вместе жили Катя и Ванда; Катя, высокая блондинка с короткой стрижкой, была архитектором. Ванда – попроще, родом из Заславля, работала на заводе ЭВМ, в автобусе часто забирала микрофон у гида и хриплым голосом выпевала песню по погоде: «Скоро осень. За окнами август. От дождя пожелтели кусты. Но я знаю, что я тебе нравлюсь, как когда-то мне нравился ты».

Прямо на другой день после приезда в лагерь состоялся традиционный праздник Нептуна. Это шоу, как

назвали бы теперь, и было центральным событием нашего пребывания в этом чудном месте. Времени на подготовку у нас не было почти, однако мысль изобразить цыганский табор помогла выйти из положения.

Каждая из групп перед началом выхода на летнюю сцену занимала своё место в очереди; перед нашим табором расположились поляки – накрывшись одной простынёй все сразу, они изображали сороконожку. Почему-то в их группе были одни юноши, в полутьме вечера мы переглядывались: так я впервые увидела своего любимого – выглядывающим из-под простыни. Несколько взглядов хватило, чтобы я поняла: это он! Ещё помнила немного польский, и предыдущая поездка в Польшу помогла. Когда окончилось представление, мы вдвоём пошли гулять вдоль моря, под кроной невысоких дубов, между которыми располагались наши бунгало. Нет, сначала мы танцевали, в большом деревянном сарае, заменявшем клуб, толкаясь среди других пар, образовавшихся сразу после праздника, но никто нас не разбил. Мы танцевали томительно, страстно, не отрываясь друг от друга. Его звали Кшиштоф, он окончил в Кракове технический университет, учился в аспирантуре. Мы целовались и говорили обо всём во время нашей бесконечной прогулки по территории лагеря; он говорил мне «смутна звязда», он называл меня «маленьки глупусик», он говорил: «Не могу тебя так оставить». Потому что наутро их группа уже уезжала на родину, а мы только приехали...

Так мы бродили почти всю ночь и под утро оказались в его палатке, где стояли четыре железных кровати, обитатели трёх из них делали вид, что спят. Никогда ни до, ни после не представляла, что смогу переступить порог мужской палатки среди ночи.

Собственно, уже начинало светать, мы старались двигаться совсем бесшумно, но бесстыдно зазвенели тяжёлые серебряные браслеты, которые носила тогда не снимая. Кто-то спросил: «Который час?» Я просто умерла от страха, и потому не помню, как выбралась на волю.

Две девчонки из нашей группы видели, как я пробираюсь по лагерю к себе...

А утром в десять часов поляки уже уезжали: когда я прибежала, их группа уже сидела в автобусе, я смотрела на Кшиштофа, в его внимательные глаза, смягчённые нежностью и грустью, но губы сохраняли привычный польский чуть насмешливый изгиб, это сочетание и составляло главную прелесть его лица. Внезапная любовь всегда узнавание, казалось, что знаю его очень давно, а теперь навсегда теряю. И такое отчаяние читалось на моей физиономии, что руководитель их группы вышел и сказал: «Поехали с нами! Я впишу тебя в свой паспорт». Он задержал автобус, чтобы мы смогли проститься – скованно, у всех на глазах; написать письмо сразу по возвращению он пообещал накануне.

И, как ни странно, действительно написал, но не буду забегать вперёд, у нас в запасе была ещё целая неделя в лагере на берегу моря – чистый отдых и развлечения. Только мне всё это стало немило. Мы подружились с болгаринном Любчо, он работал спасателем, был крайне самоуверенным, говорил мне, что первый раз встретил умную русскую девчонку – мне это польстило, увы! А на прощанье подарил мне живую болгарскую черепаху, а я приняла её, не подумав, как же я перевезу её через границу?

Обратную дорогу просто не хочется вспоминать: не успели мы переехать границу, как нас всех по очереди стали вызывать в «штаб» – в купе, где Саша с Борисом допрашивали с пристрастием, кто с кем познакомился, требовали отдать им адреса новых друзей, грозили неприятностями при возвращении. В юности я была впечатлительной чрезвычайно – мы вернулись в воскресенье; не застав никого по домашнему телефону, я решила, что всех уже арестовали, и в электричке, поглаживая черепаху, думала: вот теперь единственное родное мне существо... Потому что черепаху, подарок болгарина Любчо, мне удалось незаконно перевезти через таможню. Это было моим последним путешествием за границу. На долгие, долгие годы.



Не знаю как, но я забыла, что живу теперь не с родителями, что у меня есть муж (о чём, в частности, напомнили мне на обратном пути при допросе в купе наши начальники), что после всего случившегося я должна встретиться с ним. Он догадался! По тому, что я привезла ему ценный по тем временам подарок – белую нейлоновую рубашку, как преувеличенно-оживлённо рассказывала о всяких пустяках, а может, ему позвонили Саша с Борей и проинформировали о своих подозрениях. Однако Костя мне ничего не сказал, это было так на него похоже. А я, мучаясь своей изменой, не очень следила за выражением его лица. Стало очевидно – жить как ни в чём не бывало далее невозможно. Объясниться мы не пытались. Месяца два я ждала письмо от Кшыся; сдуру я дала ему наш с Костей адрес на Антоновской улице. Письма всё не было. После Нового года я попросту перестала его ждать. Зато узнала, как угнетает присутствие человека, перед которым ты кругом виновата, и я ушла от него к родителям – без восторга, но убежище временное мне предоставили. Иногда, проходя случайно под окнами нашей квартиры, видела свет настольной лампы под зелёным абажуром на письменном столе.

Через два года, уже после чехословацких событий, мы развелись по всей форме, в суде – это позднее при отсутствии детей стало возможно оформить развод прямо в загсе. После выплаты Косте его части взноса в кооператив я снова оказалась у себя, на Антоновской – пободавшись, мы смогли как-то договориться и расставались уже почти мирно. Забирая последние вещи, он сказал, как бы между прочим: «Хочешь, отдам теперь письма твоего поляка?» И, насладившись моим недоумением, добавил: «Уже почти два года с ним переписываюсь, давно мечтал поупражняться в польском». Костя был западником, родом из Мостов, Гродненской области, свободно по-польски читал.

Письмо от моего поляка – единственное! – передал мне в следующую встречу.

Из письма Кшиштофа, написанного по-польски (а я могла читать с трудом польский печатный текст, но не рукописные каракули), я узнала, что у нас с ним есть сын, которому сейчас полтора года, и зовут его Рышард.

Более года Костя писал одураченному поляку письма от моего имени; чтобы убедиться, что я была ему неверна, написал о беременности, а затем и о рождении сына, даже придумал ему имя. Думаю, история с нашим общим погибшим мальчиком подсознательно лечилась этим вымыслом; так я думаю теперь, по прошествии многих лет, но тогда, сразу по получении письма от Кшиштофа, я была в величайшем недоумении, просто не знала, что думать и как быть. Обманутый поляк спрашивал, почему я так уверена, что это его сын? Ведь у меня же есть муж – этого я не скрывала при нашей встрече. Кроме того, он просил фотографию нашего сына, расспрашивал подробно про его здоровье. Я почувствовала себя виноватой, как будто это именно я его так водила за нос, а он там нервничает, переживает...

Вскоре команда наших баскетболистов ехала в Польшу на соревнования, среди них были Толик С. и Тома, его девушка – высокая, прекрасная, победительная. Я передавала с ней письмо, с просьбой опустить его в ящик в Кракове. Почему не послала обычной почтой? Не знаю. В письме я писала кратко, что всё это время с ним переписывалась не я, а мой к этому времени уже бывший муж. Что о нашем сыне сама узнала неделю назад. Неудивительно, что ответа не последовало, однако некоторое разочарование всё же испытала. Теперь думаю, что Кшиштоф воспринял сообщение об отмене своего сомнительного отцовства с облегчением.

Только потом гораздо интереснее было представлять, как Костя, получив первое письмо от Кшиштофа, сумел написать от моего имени любовное письмо так, что совсем не глупый поляк поверил в моё авторство! Как удалось Косте перевоплотиться в меня настолько? А ведь я думала до этого случая, что он не имеет ни капли артистизма, ни малейшей склонности к розыгры-

шам! Письмо поляка я зачем-то сразу порвала (или это Косточка отдал его мне разорванным?), однако храню его тщательно, какая-то тайна, от него исходящая, по прежнему тяготит. Характерно, что и у Кости, и у меня так и не было сына – только дочери.

Лет через двадцать после получения этого странного известия (но до перестройки) услышала из репродуктора, что мэром Кракова выбран Кшиштоф Бенски – полный тёзка моего поляка или он сам, я почему-то склоняюсь ко второму: как ни крути, но наша странная история подтвердила, что у него было чувство ответственности, а это уже немало.

А ещё был на эту тему странный сон – я тогда училась заочно в Литературном, приехала в Москву на сессию, и накануне прямо в аудиторию зашла представитель деканата и громко прочитала телеграмму, что у моего однокурсника и друга Саши Радушкевича из Владивостока в его отсутствие родился сын. Все захлопали и бросились его поздравлять. Этой же ночью мне приснился сон, что мне приносят телеграмму из Минска, где сообщается, что в моё отсутствие у меня родился сын, и я думаю – ну, пусть пока с ним повозится Мира, моя свекровь (с ней я оставила Таню на время моего отъезда), а потом я вернусь и всё возьму на себя. Как, однако, славно всё получилось – радовалась я во сне. Помню и утреннее разочарование.

А иногда представляется вполне отчётливо, что он живёт где-то почти поблизости, просто мы так и не встретились пока – мой сын Рышард, полуполяк, ему уже за сорок... Может, отсюда и любовь к ансамблю «Чэрвоны гитары», чувство радости и озорства, тонкого польского озорства, явно ощутимого в их игре, кажутся мне неотразимо привлекательными – куда до них всем миром почитаемым «Битлам»!

## БОЛГАРСКИЙ ШЁПОТ

Миг, единства с миром полный,  
Россыпь звезд, и ветер влажный,  
А лица его не помню..  
Впрочем, это и не важно.

Что же всё-таки случилось  
На земле болгарской, древней?  
Снизошла любовь как милость,  
Всё окрасил свет волшебный.

И шептались по-болгарски  
Над бунгалом листья дуба,  
Только ночь – подарок царский,  
Чтобы сразу вырвать грубо.

Вечер, ночь, а утром рано  
Подкатил чужой автобус,  
И навек – разлуки рана,  
Накренился набок глобус...

В самом центре мироздания  
Четырёх начал природы  
Лишь короткое касанье,  
А энергии – на годы.

## Взлом с Мнемозиной

Есть такие ящики старого письменного стола, которые давно уже не открываются иначе как при помощи отвёртки и молотка – стол от времени разохся, распух, ящик заклинило, набит чем попало, да и трудно вспомнить: что там? Пока не подтолкнёт Мнемозина – для удобства воспользуемся определением памяти в «Других берегах» В. В. Набокова – а не там ли заветный конверт с письмом, стихами и книжечкой «Виды Троице-Сергиевой лавры»? Ящик открылся, вот стихотворение, которое получила по почте в июле 1975 года:

Расставания пробил срок, скоро поезд мой побежит,  
Скоро поезд мой побежит  
В край, где солнце встаёт как Бог  
Из поваленной ветром ржи.

Здравствуй, древний рязанский улус,  
И Мордовия, и Симбирск,  
Тёмным тёсом крытая Русь,  
Волжской вольницы свист и риск!

В тонких пальцах прохладность ручья,  
Обречённость в покатости плеч...  
Это время рубит сплеча  
То, что сердце хочет сберечь.

Жаль в глазах затаённую стынь,  
Прядь волос на твоих висках.  
Как у рокотовских княгинь,  
Не загубленных в Соловках!

С его автором, поэтом Н. П-ко из Ульяновска, я познакомилась в Москве, в Литературном институте, в июне того же года, во время первой летней сессии – я училась тогда на первом курсе, он – на последнем. Тогда же, по неостывшим следам, попыталась описать нашу встречу в ученической тетради; недавно нашла этот текст, озаглавленный скромно: «Поездка в Загорск».

Июльское воскресное утро в Москве – непривычно безлюдное, светлое. День обещает быть жарким, пока свежо и радостно. Прихожу, опоздав на пять минут, так удачно, что не раньше времени; вижу его у метро чужими глазами и пугаюсь: кто он – биндюжник или поэт? Вот он тоже увидел меня, идет навстречу. Это он нашёл во мне что-то для себя интересное, а я просто подчинилась его напору и силе, поэтому в первый момент чувствую лёгкую тошноту и головокружение.

– Ты не заболела? Я так волновался! – он читает мои мысли и угадывает, что волнения его были напрасны, становится хмурым и чужим. С трудом втискиваемся в электричку, он уходит курить, смотрит из тамбура: интересно, что видит он?

Всё началось внезапно, ошеломляюще, непонятно... Он случайно забрёл в ту комнату в общежитии, где я ещё более случайно находилась, глаза его заблестели и он сказал сразу:

– Наконец-то я вас нашёл, – это были ключевые слова. Далее последовало уточнение: – Помните, мы виделись в институте? Вы были в такой нелепой длинной юбке, мы смеялись, пока я не увидел ваше лицо – оно меня поразило...

Все вышли из комнаты, потому что им стало неловко. Алевтина, лучшая подруга, сразу стала говорить, чтобы

я не верила, что всё это бред собачий и что до моего прихода он говорил в коридоре Людке Семыгиной ещё и не такое: «...ты посмотри на его лицо! Разве способен на высокие чувства человек с таким грубым, топорным лицом?»

Самое удивительное, но именно это несоответствие – малопривлекательного, мясистого, чуть бабьего лица и прекрасных, взволнованных слов – и подтверждало каким-то образом их подлинность...

Далее в этюде о поездке следует довольно бледное описание самого Загорска – из запомнившихся деталей небезынтересны водочные бутылки, в которые наливали паломники святую воду из источника Сергия Радонежского, и старушки-богомолки, называющие друг дружку «девочки», невразумительное изображение ссоры без причины и повода, его подлинныя слова: «Знал, что ты дура, но такая!» – причём сейчас, по прочтении я с ним полностью соглашусь, имея в виду себя ту, давешнюю... Много раз упоминается нестерпимая жара, и вот почти конец, обратная дорога на электричке.

...Он объясняет мне – во всём виновата жара, конечно, и в посещении подобных церемоний есть что-то угнетающее (речь идет о посещении Загорска Патриархом!), мы оба впечатлительны, иначе и быть не могло, держит мою руку и просит прощенья – у него на большом пальце правой руки почерневший ноготь – у женщины напротив короткие, обесцвеченные перекисью волосы, свежий загар, жёсткие светлые глаза. Она пересаживается, так происходит всегда, когда мы на людях. Я говорю, что так нельзя, а он смотрит своими выпученными глазами и говорит: «Сразу видно, у нас любовь».

Мы расстаёмся поспешно, даже не делая вид, что с сожалением, завтра зачёт, это просто здорово, что завтра зачёт, и можно сбежать к родственникам, экзамены один за другим, так мало времени для занятий. Всё время хочется спать, и он – постоянное облегчение при расставании, незаполнимая, зияющая пустота отсутствия, гул в висках, ускоряющий встречу.

Это была единственная сессия в Литературном институте, которую я сдала только на «отлично», и Он тоже; вернее сказать, в его зачётке за пять лет – я рассматривала его фотографию в ней, не узнавая – действительно не было других оценок, а у меня были – после. Он привёз ещё рукопись диплома и подарил мне лишний экземпляр. Когда и что он успевал делать кроме свиданий со мной – не знаю, мне кажется, мы встречались каждый день в тот жаркий грозовой, неповторимый июнь в Москве. За все последующие годы учёбы я не побывала более ни в Архангельском, ни в Донском монастыре, а Третьяковскую галерею посетила только потому, что пришлось повести в неё знакомого француза.

Что не удалось прозой, пробовала выразить стихами; это уже отступая почти год, когда в следующую весеннюю сессию искала и не находила его на каждой скамейке институтского сквера, за любым поворотом бесконечного коридора главного корпуса:

Примеряли Москву как обновку  
– А в глазах – затаённая стынь –  
Не спеша обошли Третьяковку,  
Сад Нескучный, Донской Монастырь,

Чтоб острее почувствовать корни,  
Побродили босые меж плит,  
Что травую засеяно сорной –  
Всё равно не забылось, болит.

А земля эта – близкая, злая,  
Не щадила – колола и жгла.  
А любовь ли была – я не знаю,  
Но полнее потом не жила....

Да, вот ещё одно яркое воспоминание – мы в Архангельском, от недавней грозы стоит пар и запах травы будоражит, но ему попала в глаза соринка, мы стоим, прислонившись к сосне, и я языком пытаюсь слизнуть



её с глазного яблока, не помню, удаётся ли это, но он говорит сдавленно: «Поехали в общежитие...» А в день отъезда, днём, я плакала – не от горя разлуки, из-за очередной ссоры, так от мне надоел!

А по возвращении получила письмо, написанное им на зелёном телеграфном бланке, сразу после того, как он вернулся, проводив меня на Белорусском вокзале в Минск. Он писал, что держит в руках бронзового слоника, которого я ему подарила: «Мне не стыдно в этом признаться, я проплакал целый вечер в комнате «о том, что ничто не вернётся назад». Уехала и увезла моё сердце, и мне так горько, что даже глаза не открываются. И ещё понимаю после прощания, что стар я безнадёжно, но где-то то место, где я буду зарыт?»

Далее он советует плюнуть «на всю эту условную академическую жизнь» – слова, понятные мне сейчас, не тогда, и в конце снова: «...знаешь, как пакостно на душе, когда вырвано всё, ничего нам не остаётся, кроме надежды и воспоминания. Уже не будет того, что было, и клянусь себя за всё: за грубость, за то, что был внимателен недостаточно – и всё-таки береги эту память, прошу тебя! Хотя и не имею права просить».

Я пыталась разыскать его неоднократно – на страницах журналов, расспрашивала общих знакомых, а лет десять назад написала в Ульяновск письмо по его домашнему, для меня запрещённому адресу, но пришёл ответ, что в доме этом никто не живёт, там теперь вытрезвитель. Алевтина, которая тогда ещё числилась в подругах перед окончательным расплёвом, играла роль Мнемозины – вместе с ней можно было эту сессию вспоминать. Она и сказала – посмотри, какая точная концовка у этой истории, после получения открытки из вытрезвителя – Его не было вовсе! Но у меня хранится рукопись диплома Н. П., третий, неотчётливый экземпляр; вот стихотворение, его открывающее:

Тихое русское утро.  
Душу знобящий рассвет.  
Всё это помнится смутно –  
Минуло тысячу лет.

Было – татарское иго.  
Было – немецкая рать.  
Рабство, кресты и вериги –  
Головы не поднять.

Но за жестокостью века,  
Как за кровавой межой,  
Вижу я человека  
С тёмной славянской душой

.....  
Нет! Не разорваны нити  
С древней и новой страной.  
Русское солнце в зените –  
Солнце моё надо мной!

Тогда Он любил Блока, Есенина и Рубцова; в те годы памятью о его гибели ещё были наполнены комнаты общежития, все женщины казались опасны...

Но с тобой – необузданным, вольным  
Я вдохнула российскую ширь...  
Где-то Разин гуляет на Волге,  
Ермака покоряет Сибирь!

## Байки из Лодзи

Моя сентябрьская долгожданная поездка в Лодзь удалась – хотя по возвращении со мной стали случаться странные вещи: так, я упала на ровном месте и сломала плечо, дневник поездки, который стала писать тут же по возвращении, пропал из компьютера – единственный текст, первый с тех пор, как я вообще начала новым компьютером пользоваться...

Более чем через год возвращаюсь к этому сюжету – поездка вообще-то была удачной: в декабре прошлого, 2004 года пришла из Польши посылка со сборником, где среди прочих была и моя статейка, ещё по материалам антологии белорусской поэзии. Эта публикация помогла мне сохранить лицо при отчёте в ИМЛИ, как внеплановая работа. Но вернёмся к той сентябрьской поездке в Лодзь – два эпизода, две байки хотелось бы подробнее записать.

В первый же день конференции, после целого дня напряжённой работы, прослушав нескончаемый ряд докладов и сообщений (во время дискуссии поцапалась с паном Червинским из Ополя), все отправились в главное здание университета на вечер; объявлен был спектакль силами студенток кружка русской литературы, который вела пани Татьяна Степновска. Они ставили пьесу «Вперёд, котёнок!» А. Зинчука, дотоле мне неизвестного современного русского автора. Перед началом первого

действия вот что произошло: мне как-то очень настойчиво предложили сесть на первом ряду. К счастью, я не согласилась, устроилась на втором – это позволило мне буквально вжаться в спинку кресла (а хотелось бы стать вообще дамой-невидимкой из одноимённой пьесы Лопе де Вега!), когда на сцену вышла высокая девушка с двумя кошачьими ушами из закрученных кос и начала с завываниями читать:

«Воздать хвалу! Но снова трушу.

И даже не лицом к лицу...

Но тайну сердца не нарушу,

Не сдуну с бабочки пыльцу».

Стихотворение это, посвященное Виктору Антоновичу Коваленко, директору Института литературы, когда я там работала, я никогда не читала вслух, было в нём нечто тайное, как объяснение в любви, которое нельзя произнести прилюдно – впрочем, и наедине нелегко. А она-то, эта дылда, пыльцу с кого угодно сдует, может, наверно, и пыль сдувать с мебели с таким же пылом... А я так гордилась, когда пани Татьяна написала мне, что на поэтическом семинаре она со студентками изучает мои стихи! С пани Татьяной мы знакомы были к этому времени уже чуть ли не десять лет, познакомились на конференции в Гродно – удивительно детская улыбка и смешной хвост из чёрных прямых волос до пояса, заплетённый в косичку, неуловимо девчоночьи повадки в сочетании с полноватой фигурой располагали к дружбе. Она чуть моложе меня, человек исключительно лёгкий и доброжелательный. И вот сюрприз – желая сделать мне приятное, студентки под её руководством подготовили чтение моих стихов со сцены. Пани Татьяна обернулась ко мне, поощрительно улыбаясь, я имитировала смущение, сгорая в душе от стыда: вот уж кто должен был радоваться, так это пан Червинский – так беззащитно, нелепо звучали строчки, когда-то дорогие и важные для меня. Вжимаясь в кресло, чтобы те, кто сидел сзади, не могли меня видеть совсем, представляла, как они зло-

радно хихикают или саркастически улыбаются. Между тем пытка длилась, и завывания всё набирали обороты – мышкой мелькнула надежда: не к концу ли дело идет? Но пытка окончилась не так скоро, а в конце её мне пришлось ещё и встать, и кланяться после вручения огромного букета роз. Жалкая улыбка якобы смущения блуждала по лицу, не так часто приходится изо всех сил контролировать выражение своей физиономии и вообще «держат спину». Я понимала, что Татьяна, сама поэт, хотела сделать приятное. Скорее мне было непонятно собственное раздражение. И уже во время спектакля, который очень даже понравился, исколовшись крупными шипами этих нелепых роз, я придумала, что делать с букетом дальше: как только спектакль окончился, я взшла с ним на сцену и раздарила цветы артисткам. По пьесе – а действие происходит на помойке – девочки были сильно загримированы, кто кастрюлей, кто калошей... Дылда Лена, читавшая мои стихи, была в гриме кота-разбойника (отсюда и закрученные в кошачьи уши косы); да и играла она, надо признаться, очень талантливо. Все обрадовались цветам, и мы уже как приятельницы пошли в аудиторию, которая служила им грим-уборной, очень мило поговорили, и самой было непонятно – почему так коробило меня чужое их чтение? И так ли стихи хороши? Может, это полезно – услышать свои строчки вот так, в полном зале и корчиться от неловкости и стыда?

Кстати, когда были напечатаны фотографии с того вечера и я смогла различить лица тех, кто сидел позади меня, удалось разглядеть, что злорадных усмешек, которые мне мерещились, не было ни на одной физиономии, стыдно, когда думаешь о людях хуже, чем они на самом деле есть.

А сюжет второй «байки» пришелся на другое утро, когда спустилась в гостинице к завтраку: накануне кафе было пустынным. А тут как будто сбросили десант – исключительно мужчины, молодые, интересные заполнили столики, еле нашла себе место визави с приятным поля-

ком, очень даже идущим на контакт: оказалось, это съезд травматологов Польши. Так вот куда идут нынче настоящие реал-мены! Моего собеседника звали Кшиштоф Токарчук. Разговор у нас завязался живенький – ведь я уехала в эту поездку почти нелегально, отпросилась у Нины, жены брата – мама лежала в больнице, месяц назад она сломала шейку бедра... Делали операцию. Проблемы травматологии в тот момент для меня очень даже были актуальны и своевременны. И вот пока мы их с паном Токарчуком обсуждали, к нашему столику подрулил его коллега – я на него только глянула и обомлела: передо мною стоял «мой поляк», тот самый, из Болгарии, с которым на берегу моря провела одну ночь в мои двадцать пять и которого помнила потом всю жизнь... Кшиштоф знакомит нас – его зовут Анджей (на самом деле это «моего» поляка звали Кшиштоф), и говорить становится уже не так легко. К счастью, возникает коллежанка из Украины, этакая продвинутая Наталка-Полтавка с модной стрижечкой ёжиком, владеющая польским; она явно делает «стойку» на интересных мужчин, мы до этого с ней и двух слов не сказали. Она энергично включается в общение, сообщая присутствующим, что я поэт(эсса), и какие прекрасные стихи вчера были прочитаны со сцены. Это заинтересовало наших соседей по столику гораздо больше, чем разговоры о травматологии, что показалось мне странным.

Невежливо по отношению к остальным – но я смотрела только на своего визави, на пана Анджея, собирая из черт его лица образ, когда-то любимый, ускользающий – он не был похож, но вызывал то же чувство, когда мгновенно какие-то провода замыкаются и сознание ослепляет мысль: это он! Уже разговоры двинулись в русло вечернего чтения стихов в номере наших новых друзей... но время было идти на заседания, с трудом освободившись от чар, вышла на улицу освежиться – прямо перед зданием нашей гостиницы, как золотой слиток, стоял раскидистый клён, и я говорила себе: «Опомнись, старая дура, какое чтение стихов, какие номера?» Всё это было

тридцать лет назад. Что-то может показаться на минуту, но вернуться и допить ту сладкую водичку нельзя. (Это история из Таниного детства: впервые повела её в цирк в возрасте лет четырёх, тигры были во втором отделении, а в антракте, как положено, повела дочку в буфет, взяла бутылочку лимонада. Но она всё нервничала, спрашивала: а когда будут тигры? И вот возвращаемся на свои места, появляются во главе с дрессировщиком настоящие полосатые зверюги. Танюша, посмотрев на них без особого интереса, сказала деловито: а теперь давай пойдём и допьём ту сладкую водичку. Фразочка эта с тех пор вошла в семейный обиход...)

Но вернёмся в осеннюю Лодзь – я ходила вокруг меднолистого клёна и твердила себе: «Не будь смешной!» На улице было по-осеннему прохладно и влажно, и на первое заседание я пришла уже совсем протрезвевшая. А Наталка уезжала днём в Краков, на прощанье подошла и сказала: не трусь! Всё в норме! Вечером мы группой гуляли по городу. А утром следующего дня в кафе встретила пана Кшиштофа Токарчука и подарила ему мой сборничек с надписью «На память о встрече в Лодзи».

Настоящее свиданье, которому возраст не помеха, состоялось на главной улице города, на лавочке, где я сидела рядом с бронзовым Тувимом, великим польским поэтом, после прочтения стихов которого на втором курсе БГУ «стихи выскочили из меня и пошли гулять по городу» – так писал сам Тувим о том, что произошло с ним после знакомства со стихами Леопольда Стаффа. И остался снимок, где я с ним сижу на лавочке – потому и стремилась так в Лодзь, на родину моего любимого поэта; остались стихи:

\* \* \*

Я ехала домой, за стёклами пейзаж  
Светился позолотой тусклой,  
И медленно полз поезд наш  
К границе польско-белорусской.

Оставив город Лодзь, где, издавна любим  
Озябшим щеголем, на лавочке сидящим  
Средь шумной улицы, обронзовел Тувим  
Связав прошедшее с днём настоящим.

Как эта осень ясная, тиха,  
Душа поэта в рифмах пребывает,  
Но в миг произнесения стиха  
Крылами бьёт и ввысь взмывает.



# *Китай и русская литература*

*Китай – великая загадка,  
Для европейцев – дальний свет.  
Страна отменного порядка,  
Уюта – нет, покоя – нет.*

Не так давно по телеканалу «Моя планета» прошла прекрасная передача, посвященная знаменитому «Варягу», о том, что построен был крейсер в Филадельфии; заказ этот почти спас хозяина верфи от банкротства, а в городе именно тогда был построен православный храм, иконы которого подарили моряки с «Варяга» после его освящения, перед выходом в плавание. В настоящее время настоятелем этого храма Андрея Первозванного служит Марк Шин, американец по отцу и француз по матери, которая заразила его своей увлечённостью русской историей и культурой, и в 15 лет он принял православие.

То есть многонациональность присутствовала в истории этого крейсера со дня рождения. Для меня всё, связанное с той неудачной русско-японской войной, стало особенно важным после того, как там, в Даляне, в китайской клинике «Здоровье для всех» прочитала наконец роман Александра Степанова «Порт-Артур». Потому что лечение, клиника, доктор Джо – это всё так, для прикрытия, а вот присутствие в этих исторических местах, политых русской кровью, теперь чисто китайских,

задело во мне что-то глубинное, корневое, связанное прежде всего с папой, с той составляющей частью папиной сущности внутри меня, которую отчётливо ощутила сразу после его кончины. Папа был настоящим русским патриотом, и последняя его фраза, которую я запомнила, звучала так: «Мне не жаль, что я умираю, это естественно – мне нестерпимо думать, что погибла Россия»; шел 1998 год, в июле, когда папы не стало, ему было 85 с половиной лет.

И вот в своей отдельной комнате, в китайской клинике на окраине города Даляня я читаю книгу о той проигранной войне царской России с Японией; неспешный, добротный текст, который писался практически на протяжении двадцати лет с перерывом на Великую Отечественную войну. Автор семейно связан с флотом, даже успел в юности послужить на флоте, а потом, нарушив семейные традиции, пошёл учиться на инженера. Затем, заболев серьёзно в дееспособном возрасте, в больнице вернулся мысленно к своей службе на флоте; видимо, мысль о соучастии в трагедии не отпускала его. Как ему удалось ещё и получить доступ к архивам, неведомо; не удивлюсь, если многое сумел получить по переписке. Но добросовестность автора, тщательность в описаниях – всё это говорит о трудолюбии и об отсутствии тщеславия, потому что такими писаниями славы не стяжаешь.

Какое это было блаженство – после процедур усесться в удобное кресло спиной к окну, чтобы свет падал на страницу; чтение было неспешным (впрочем, читать быстро уже не умею), скучноватые подробности погружали в чужой до этого мир – корабли, военные моряки, признаки надвигающейся войны, шпионы, которые почти не маскировались... Не знаю, почему всё это мне было интересно и важно, хотя проридаться сквозь чересчур технические описания орудий, стратегии боя было не просто. Довольно скоро вспомнилось, как в Ленинграде, когда родители были заядлыми театралами, ходили в театр регулярно и приносили с собой программки – не только тоненькие, про тот спектакль, который «давали»

в этот именно вечер, а по особой моей просьбе толстые книжечки тетрадного формата, под названием «Театральный Ленинград».

Так вот, я помню, что папа с мамой вернулись из театра после спектакля «Порт-Артур», пьеса эта была поставлена в Академическом театре имени А. С. Пушкина, в главном драматическом театре начала 50-ых годов, до того прихода Товстоногова в театр им. Горького на Фонтанке, который перехватил пальму первенства у Александринки, где шел спектакль «Порт Артур», надолго или даже навсегда. По тону их разговора между собой я поняла, что спектакль понравился, но особенно чётко помню папины слова о предательстве генералов и в первую очередь коменданта Порт-Артура. Я разглядывала картинки в программе, и помню портреты дамы с гордой посадкой головы, со страусовыми перьями в причёске, и внушительного вида генерала с бородкой и в усах – четы Сессель, коменданта крепости и его жены в исполнении артистов Вивьен и Карновича-Валуа. Необычность фамилий как самих артистов, так и исполняемых ими персонажей заставила их зацепиться в памяти, вот только инициалы как-то потерялись... И то, что они предали крепость – тоже запомнила навсегда. Но это не очень поразило тогда меня, второклассницу – ведь такое было не просто возможно, но и абсолютно предсказуемо при насквозь прогнившем царском режиме!

Это всё, что я знала о трагедии сданной крепости предварительно, до прочтения объёмного романа. Поездка в Порт-Артур не получилась как летом, в августе, так и зимой, в феврале из-за погоды, а также не было желающих ехать, кроме меня. Книга мне показалась исключительно актуальной – про продажность высших чинов в армии во время той же Чеченской войны кто только не писал! Владимир Маканин даже, кажется, премию получил за свой роман «Саньч». О напрасности, ненужности говорил папа о той самой русско-японской войны. А вот там, на берегу Тихого океана мне уже не казалось это таким уж бесспорным...

В дневнике записано: «Кончила читать роман со слезами. Это роман-летопись». Кроме как из этого романа, никто никогда не узнает (китайцы постараются, уж это точно!), что когда-то был здесь русский город Дальний, рядом с крепостью Порт-Артур, потом японцы взяли крепость, вернее, её сдали высшие чины русской армии. Этому содействовали многочисленные японские шпионы, при активном, пусть и молчаливом участии американских и английских политиков. Однако в той передаче, посвящённой «Варягу», подчёркивалось восхищение героизмом русских офицеров и моряков, которых разместили на своих кораблях итальянцы, французы и даже англичане, отказались только американцы. Но и японцы выпустили потом раненых моряков с крейсера «Варяг» из плена на Родину, отдавая должное героизму русских и соревнуясь в благородстве после своей победы. В книге упоминаются и китайцы, но всегда на самых низших позициях: только слуги, крестьяне, нищие...

Поэтому наблюдать сильных, здоровых, уверенных в себе китайцев после чтения этой книги было весьма поучительно: работоспособность китайцев отмечается и в романе Степанова, но представить себе трудно, что именно они оказались бенефициариями той далёкой войны и второй, окончившейся реваншем русской армии в 1945 году. В конце книги Степанова краткое послесловие: в 1949 году, после провозглашения Китайской Народной Республики, земли эти, бывшие яблоком раздора между Россией и Японией, были переданы (подарены?) Китаю.

Обратно летела через Урунгчи, времени на пересадку было достаточно, в зале ожидания заметила скромную полочку с книгами – это новшество появилось недавно, но весьма кстати. Так вот, среди книг на китайском языке попалась мне (о, счастье!) «Хрестоматия по русской литературе для китайских школ»; я просто впились в эту книгу. Начинается она, как и положено, с древнерусской литературы, со «Слова о полку Игореве», с Даниила Заточника – не перечислю всех; были там и Карамзин, и Державин, и Жуковский, не говоря уже, конечно, о Пушкине и Лермон-

тове. Гоголь, Толстой и Достоевский тоже присутствовали, в отрывках, разумеется. И XX век был вполне полноценно представлен: и Блок, и Есенин, и Маяковский – поэзия, эмиграция – Бунин и Набоков со вполне вразумительной вступительной статьёй. Литература времен войны: Твардовский «Василий Тёркин» и Фадеев «Молодая гвардия», а затем Солженицын «Матрёнин двор», Распутин «Живи и помни», Астафьев... Из поэтов только Евгений Евтушенко. Надо было провести около часа до посадки на самолёт в Москву, хрестоматия открылась на отрывках из «Молодой гвардии»: как раз конец романа, сцены допроса молодогвардейцев. Замелькали знакомые из ежедневных репортажей по ТВ о военных действиях на Украине названия Донецка и окружающих его населённых пунктов: Горловка, Дебальцево, Шахтёрск...

В России роман Фадеева был исключён из школьных программ ещё до развала Союза, а может, ещё раньше лет на десять. После начала Чеченской войны народный писатель Белоруссии Янка Брыль при мне говорил: «Если бы высшие военные чины читали «Хаджи Мурата», они ни за что бы не начали этой войны!»

Так вот, если бы главные люди в Киеве читали в школе внимательно роман Александра Фадеева, может, не ввели бы войска в Донецк! Как же не ценим мы, не считаемся с теми резервами силы духа и мужества, которые хранятся в книгах советских времен.

Помню, как в самом начале девяностых в наш тогда ещё существовавший Институт литературы им. Янки Купалы в Минске приехала представительная делегация литературоведов из Китая, собрали общее собрание и у директора глава китайской группы спросил: «Мы хотим знать, был ли у вас на самом деле соцреализм?». Директор – уже не Виктор Антонович Коваленко – растерялся и забормотал что-то невразумительное: «Это как посмотреть, скорее да, чем нет, нам тогда казалось...», вышло неубедительно.

Тогда главный китайский литературовед (кажется, директор института литературы в Пекине) перебил эту

невнятицу и веско сказал: «А мы считаем, что он был, как изучали, так и будем продолжать его исследовать и главное – преподавать». Собственно, та книга, которую мне посчастливилось подержать в руках в зале ожидания, возвращаясь «на перекладных» из Даляня, подтверждала сказанное в Минске директором пекинского института литературы лет двадцать тому назад.

И вот ещё подтверждение того, как по-хозяйски китайцы относятся к нашей литературной «спадчине», то бишь к наследству – на проходившем 23 марта общем собрании Отделения историко-филологических наук РАН в сообщении И. Шайтанова прозвучало, что в Китае целиком переведена и издана «Историческая поэтика» Александра Веселовского, по словам которого китайцы сейчас проходят этап «добросовестного ученичества». Там же издано 10 (!) монографий о М. Бахтине, «Бахтин в мире» – отдельная ветвь в китайской филологии, что обещает полноценное вхождение Китая в мировую традицию литературоведческой мысли.

А у нас всё ещё цитируют исключительно французских постструктуралистов с их «смертью автора», «смертью читателя», накликая тем самым и «смерть литературы»...

Поезд застыл – вокзал поехал:  
Это земля течёт под ногами...  
Крикнешь: – «Куда?», но не слышно эха –  
Это Родина расстается с нами.

Думали – это от нас зависит,  
Синий плащ примеряли – к разлуке...  
И вдруг непонятно над чем повисли,  
Чувствую: ослабевают руки.

Вдруг ощутили клеймо сиротства.  
Птицы взметнулись – вслед за отцами...  
Мы проиграли своё первородство –  
И Родина расстается с нами.

# Пребывание графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина в северо-западном крае

После победы над Наполеоном и триумфального вступления в Париж возвращение русских полков на Родину иногда растягивалось на долгие годы. Так, старший сын графа Алексея Ивановича Мусин-Пушкина Иван Алексеевич (в 1812 году вступил в Санкт-Петербургское ополчение, а с шестого мая 1815 года генерал-майор и командир 2-ой бригады 14-ой пехотной дивизии) провёл со своей бригадой в северо-западном крае более десяти лет и окончательно вернулся в «лоно семьи» только в 1822 году.

Таким образом, он провел вне Родины уже после окончания войны значительную и возможно – лучшую часть своей жизни (1783-1834). Попробуем представить, чем, кроме службы, были заполнены эти годы, проведённые на территории теперешней Латвии (Лифляндии), Литвы и Белоруссии – условно все эти земли назывались долгое время северо-западным краем. И главное – что это был за человек? В послужном списке молодого генерала – да, да, он был из тех самых генералов, о которых писала Марина Цветаева: «Вам все вершины были

малы/ И мягок самый черствый хлеб/ О молодые генералы/ Своих судьб!».

В послужном списке графа Ивана Алексеевича (РГ-ВИА.489.1д.7058 часть 3), помеченном 1826-ым годом, есть и награда Золотой шпагой при взятии Полоцка, орден Святой Анны 2-го класса и орден Святого Георгия 4-го класса – этого достаточно было бы для доказательства его личного мужества и бесстрашия, а ведь список можно продолжить орденом св. Владимира 3-ей степени, а также австрийского Леопольда, прусского «За заслуги» и баденского Военного ордена.

Тем не менее по письмам его матери, графини Екатерины Алексеевны, исследовательница истории семьи Мусиных-Пушкиных Е. В. Соснина-Пуцылло пишет об Иване Алексеевиче так: «Характер очень мягкий, слабозвольный... любит комфорт и удобства», далее идет перечисление того, что он везёт с собой в обозе: «удобная, в три комнаты палатка, серебряный сервиз, 12 коробок зубного порошку!/» и ещё много чего для комфортной жизни в походе или во временных пристанищах. Далее, мать в своих письмах постоянно советует ему выйти из вечной своей апатии, бросить лень и завести порядок в своем доме. И это все пишется о бригадном генерале, список наград которого приведён выше! Поистине, нет ничего более непреодолимого, чем семейные штампы и стереотипы – ведь именно в эти годы, вдали от семьи, Иван Алексеевич проявил себя храбрецом и человеком, на которого можно положиться, что подтверждает послужной список; в эти годы, проведенные вдали от родных, пережил сильное чувство, взял на себя ответственность за любимую женщину, неравную по социальному статусу – похоже ли это на лень и апатию? Из его военной биографии: «Он был употребляем в самых опасных случаях, при Люненберге бросился сам собою, усмотрев, что неприятель покинул пехоту, и первым вошел в город».

Из статьи Е.В. Сосниной-Пуцылло о графе Алексее Ивановиче, отце нашего героя: «Поражает его строгое отношение к детям, особенно сыновьям. Нет и речи, что-



бы сын сам избрал себе дорогу – поступает, куда наметил отец. Иван, воспитанный в принципах послушания, хотя и мечтает о военных подвигах, послушаться не может и подает прошение в Сенат» – речь идет о годах, предшествовавших вторжению французской армии в Россию, понятно, что «апатия и лень» гр. Ив. Ал. относится к годам его службы «по послушанию».

Продолжим цитату из стихотворения Марины Цветаевой : «Одним ожесточеньем воли/ Вы брали сердце и скалу/ Цари на каждом бранном поле/ И на балу». Вернёмся, однако, к архивным документам (ЦГАДА. Фонд Мусина-Пушкиных.1270 опись1.№10497.):

«В 1816 году гр. Ив. Ал. Мусин-Пушкин познакомился с Шарлоттой Карловной Блок в Вендене и до самой своей свадьбы жил с ней и имел 3-х детей: Любовь, Софью и сына Александра, который умер в 1822 г. В 1822 году, перед женитьбой на кн. Урусовой, он сообщил Шарлотте Карловне, что ввиду его женитьбы им необходимо расстаться и что он просит её отдать детей, которых будут воспитывать его сестры. Шарлотта К. лично привезла детей, виделась с гр. И. А. Мусиным-Пушкиным и сёстрами кн. Волконской и кн. Оболенской, на которых произвела самое лучшее впечатление. Старшую дочь, Любовь, взяла кн. Волконская, а вторую, Софью, кн. Оболенская, которая в 1823 году, то есть почти сразу, умерла. Дети были приписаны к дворянству и получили фамилию Мусины-Пушкины в 1824 году». Не могу не вмешаться – к этому времени, к 24-ому году множественное число при слове «дети» по меньшей мере неуместно – как сказано выше, сын Александр умер в 22-м году, а дочь Софья – в 23-ем. Впрочем, есть и другие ошибки в датах.

Ш. К. Блок скончалась, оставив завещание, по которому все свое состояние, 40000 руб. асс., положенные на её имя гр. Ив. Ал., оставила своей матери и сестрам, а запечатанный конверт, в котором хранились письма гр. Ив. Ал., завещала передать ему.

Разлука с Шарлоттой была очень тяжела для гр. Ивана Алексеевича. Он решился на неё только уступая

просьбам матери и всей семьи, надеясь, что таким образом детям, которых он очень нежно любил, можно будет дать более тщательное воспитание и лучшее положение в обществе, а также поверив, что Ш. К. склонна выйти замуж за порядочного /?/ человека. До самой смерти Ш. К. он продолжал вести с ней нежную переписку.

«Шарлотта Карловна приезжала повидаться с дочерьми в Иловню в 1822 г. и в Москву в 1823 г.» – на этом записка обрывается. Кроме уже упомянутой путаницы в датах, можно прокомментировать слова о предполагаемом браке Шарлотты с «порядочным человеком» – в архиве содержатся также данные о том, что Шарлотта, для того чтобы добиться через влиятельных родственников графа перевода жениха своей сестры Амалии почмейстера Кодде из Риги в Москву, где она с сестрой в это время жила, выдаёт его за своего жениха, чтобы таким образом ускорить его приезд. Понятно, что родственники Ивана Алексеевича были бы довольны, если бы она вышла замуж и тем самым избавила графа от угрызений совести! На самом деле она умерла с горя после разлуки и смерти двух из троих своих детей, которые последовали одна за другой; это причина, а повод – сильная простуда, «приключившаяся с ней по дороге из Москвы в С-Пб, около половины января 1824 года» – так следует из письма графу Ивану Алексеевичу от Карла Михельсона, контролера Департамента Мануфактур и Внутренней торговли. К слову сказать, граф получил это письмо только в 1826 году, когда вернулся в Москву из Флоренции, куда отправился посланником сразу после женитьбы на княжне Урусовой.

Можно только догадываться, как усердно способствовали родные графа этому назначению! Их желание отправить его как можно дальше от Шарлотты, пока она была жива, и от воспоминаний, когда её не стало, вполне объяснимы и понятны. В архивных документах сохранилось подробно составленное завещание Ш. К. касательно принадлежащего ей имущества – к чести графа, список этот впечатляет: карета, мебель, личные вещи,

после продажи которых были покрыты похоронные расходы, включая «приличный монумент» на Волковом кладбище в Петербурге, «остающиеся за всеми расходами деньги внесены будут в Конвент церкви Св. Анны на пользу бедных и сиротского дома, с получением в том надлежащей квитанции».

Обо всем этом мы узнаём из отчетного письма Карла Михельсона; далее он добавляет, что бриллиантовые серьги, «которые покойная родительница носила, я бы доставил Любви Ивановне, если Любонька будет носить их в память матери своей».

Такова канва событий из жизни графа от знакомства с девицей Шарлоттой Блок до её смерти, то есть с 1816-го года по 1824; попробуем вышить на этой канве домыслы наших рассуждений, взглянув на скупо описанные в документах события из нашего далека, через почти двухвековой рубеж.

Как известно из истории, победа над Наполеоном и последующее за ней пребывание русских войск в Европе имело далеко не однозначные следствия для России – 1825 год, восстание декабристов и последовавшие за ними репрессии были самыми заметными из них. Дух вольности, которым надышались за эти годы «молодые генералы», выражался по-разному, политическое движение, получившее в дальнейшем название «декабризма», есть только одно из крайних выражений этого духа. Частная жизнь, в которой любовь есть самое доминирующее, все определяющее чувство, тоже испытывала влияние изменившихся после победы представлений: вернее сказать так – победа дала её «авторам» уверенность в себе и высокую самооценку. Пребывание в Европе, во Франции, похоронившей монархию с появлением на исторической сцене третьего сословия, не могло не поколебать иерархических, сословных представлений, господствующих в это время в России. Связь с дочерью венденского купца, типичного представителя того сословия, которое в истории Европы стало главным действующим лицом, была неординарным, смелым со сто-

роны молодого генерала поступком, вполне отвечающим духу времени и места, где это происходило. Напомним, что речь идет о «связи», когда двое живут открыто вместе, имеют общий дом, хозяйство и – главное – детей, «к которым Иван Алексеевич привязан столь нежно», что, как для Ш. К., так и для него, именно будущее детей, неустроенность и неопределённость их положения, подтолкнуло любящих родителей к разрыву.

Но пока до разрыва далеко, Ив. Ал. и Ш. К. живут вместе на земле теперешней Белоруссии: письма к родителям и сёстрам, сохранившиеся в семейном архиве ЦГАДА, помечены штемпелями Витебска, Лепеля, Могилёва. Впрямую о связи его с Шарлоттой в них ни слова, однако есть косвенные данные, то, о чём можно вычитать между строк, вот, например, брюзжанье матери: «Нет хуже, как рано быть на своей воле и, не умея собой управлять, взяться управлять другими». Или вот такой еще пассаж: «...я верю, что ты занят, но как не иметь время написать и успокоить тех родителей, которые ничего другого от тебя не требуют, как ласки и откровенного с ними обращения. Мне право, мой друг, очень грустно, иногда сомневаюсь: здоров ли ты?» Или вот еще одна выписка из письма матери к сыну Владимиру, датированного 1820 г.: «По получении сего письма ты будешь уже дома и скажешь мне, как расставались жители Витебска с братом; от всех слышно, что живёт хлебосольно, но сего мне не довольно и всё одно твержу, надо занятие полезное для будущей службы. Большая воздержанность в жизни и скромное поведение есть самые рекомендательные статьи к приобретению от других уважения; приятелей хорошей трапезы много, но они ненадёжны, часто с переменою хорошего обеда число приятелей уменьшается...»

В этом же письме есть блестящее определение того, что тревожит мать молодого генерала, и что в связи с предстоящим конгрессом в Троппау называет она «кружением, которое овладело многими умами, дай Бог, чтоб средства к приведению в порядок были не военные...»

Аналогии с послевоенным приведением в чувство народа-победителя в середине века двадцатого, также вдохнувшего «глоток свободы» в Европе, очевидны.

Но вернёмся в Россию девятнадцатого века, в начало двадцатых – из письма графу Алексею Ивановичу от зятя Дмитрия Михайловича Волконского: «...Вы чувствительно меня одолжили, дав мне настоящее понятие о положении дел во Франции. Кажется, без больших усилий не скоро их уймут, а особливо ежели хоть часть народа пристанет к разбойникам, я уже и в народе их не полагаю много, миролюбивых по пословице: сын в отца, отец в пса, а все в бешеную собаку.

Пока еще в других народах есть истинная любовь к отечеству и благочестие, то будут их унимать; но опасно то, что большая часть бывших там сами развратились и сделались вольнодумцами...» Опасения эти, как мы знаем, были не напрасны, многое из предсказанного в этом письме выплеснется на Сенатской площади 12 декабря 1825 г. Проблема вольнодумства не могла не коснуться частных, внутрисемейных отношений, именно это мы и пытаемся показать в наших заметках на полях архивной переписки.

Из писем родителей к сыну, находящемуся за границей длительное время, ясно, что вопрос об устройстве его личной жизни их тоже занимает – им понятно, что молодой и холостой генерал после прекращения военных действий – состояние неустойчивое. Из письма графа Алексея Ивановича сыну (1815 г.): «В письме твоём заметил о какой-то фрейлине Тизенгаузен, прошу мне описать о сём подробнее. Это ли не племянница графини Орловой, дочь ее родной сестры? Странное дело, когда я был в Москве., то графиня – жена гр. Орлова, узнав о тебе, что ты в Лифляндии, говорила мне, чтобы я советовал тебе там жениться, а девицы там есть хорошие. Прошу подробнее меня уведомить о прочих подробностях, которые до сей материи принадлежат. Затем, вручаю Вас в милость и покровительство Создателя, родительское благословенье посылаю». Через год, в

1816 году Иван Алексеевич влюбился в Шарлотту. Ему исполнилось в этом году 33 года. Характерно, что родители пишут сыну по-русски, сын отвечает /если вообще отвечает!/ по-французски, общими фразами, избегая ответов на прямо поставленные вопросы, что значительно легче удаётся не на родном языке – не только хорошим знанием французского можно объяснить упорное нежелание сына отвечать на том языке, на котором ему пишут отец и мать, это похоже на принципиальное нежелание вступить в откровенный разговор, демонстративное огораживание некоторого внутреннего пространства.

Но было и ещё одно обстоятельство, по которому молодой генерал был всецело зависим от семьи и которое несомненно сыграло решающую роль в принятии решения о разрыве с Шарлоттой после пяти лет совместной жизни – генерал не получал жалования по службе, это видно из писем отца, возможно потому, что пошел в ополчение с началом войны, а до этого был на статской службе. Тревоги родителей о его жизни вне дома на широкую ногу вполне обоснованы, вот что пишет его отец в том же 1815 году супруге: «Ты пишешь, что корпусу Г. Вингенштейна велено повернуться, а другая половина останется в резерве за границей, то и опасаясь, чтобы наш не остался в той половине. Весьма бы хотелось знать о нём обстоятельнее. Что Ивану Алексеевичу дорого будет на службе его содержание, это я заметил по снарядам его и при покупке лошадей, и ему то говорил, но он мне противоречил...» После смерти отца графа Алексея Ивановича, на похороны которого он не приехал /!/, грешный сын вынужден был обратиться к матери с просьбой вести его дела по наследованию имущества в его отсутствие, и дальнейшая его судьба была полностью предрешена, ибо всякая независимость начинается с независимости материальной.

Из писем, хранящихся в семейном архиве Мусиных-Пушкиных в Москве, известно – молодая княжна Урусова, ставшая женой графа Ивана Алексеевича, не могла не ревновать своего мужа, привязанного сердеч-

но к единственной оставшейся в живых дочери Любви. Её портрет с птичкой в руке всегда его сопровождал и висел у него в кабинете, с ней он виделся в Иловне, куда приезжал повидаться с сёстрами и по делам. Она воспитывалась в семье Дмитрия Волконского, мужа его сестры Натальи, до поступления в Екатерининский институт, куда поместили её родственники отца, когда ей исполнилось 11 лет. Материальные затраты на содержание дочери Ивана Алексеевича также пришлось взять на себя семье сестры. К чести сестер и братьев графа Ивана Алексеевича, слово, данное Шарлотте, было выполнено – Любовь Ивановна получила воспитание, соответствующее её происхождению по отцу, и если при рождении была записана как Любовь Фадеевна Лукомская / по архивным изысканиям О.Н. Русиной в книге «Мусин-Пушкины в истории России», 1998 г./, то замуж выходила как Любовь Ивановна Мусина-Пушкина. В свет её вывозила графиня Эмилия Карловна, жена младшего брата Ивана – Владимира, который был сослан в Финляндию после восстания декабристов, проведя перед этим полгода в крепости.хлопоты родственников не смогли смягчить его положения – он просился в действующую армию, но ему было отказано. Но зато там, в Финляндии, он встретил свою будущую жену Эмилию Карловну Шернваль, шведку – аналогия с Шарлоттой Блок очевидна. Брак этот тоже не одобрялся в семье, но последствия разрыва несчастной связи старшего брата, его нескладная семейная жизнь были у всех на виду, и потому, возможно, Владимир женился на Эмилии – после ходатайства старшего брата Ивана: целый 1827 год тянется эта борьба. Мать не может примириться с тем, что Мусин-Пушкин женится на какой-то шведке, сёстры, тётушки и дядюшки усиленно хлопочут, каждый имеет для Владимира свою, более подходящую невесту. Доведенный до отчаяния, Владимир заболел, и лишь тогда – тогда именно и отправляется в Финляндию Иван – мать дала согласие. Возможно, главным аргументом Ивана могли быть слова: «Хватит того, что вы разбили жизнь

мне», а произнёс ли он их вслух или про себя – не в этом суть / «Мусины-Пушкины» 1996г. Ярославль/.

Не случайно поэтому после выхода из института именно в доме Владимира Алексеевича и Эмили Карловны оказалась Любовь. Далее приводится цитата из неопубликованных пока записок М.Е. Мирчинк, внучки Любви Ивановны: «...В свете бабушка встречалась с Пушкиным, первый раз она увидела его в Москве, будучи ещё подростком – родственница её отца княгиня Зинаида Волконская однажды на Святках устроила детский праздник, куда из института привезли и бабушку. На этом празднике присутствовал и Пушкин... Где и как познакомилась моя бабушка с моим дедом, я не знаю; дед мой был красивый, обаятельный, и бабушка в него влюбилась». Сохранилась факсимильная копия письма отца её будущего мужа Александра Семёнова, начинающегося с обращения «Милостивая Государыня Любовь Ивановна», в котором он просит её руки для сына Владимира. О поручике Семёнове /возможно, отце будущего жениха/ упоминается в письме императрицы Екатерины II к князю Долгорукову-Крымскому от 17 июля 1771 г.; вот его первый абзац: «Вчерашний день обрадована была Вашими вестниками, кои приехали друг за другом следующим образом: на рассвете конной гвардии секунд-ротмистр князь Иван Одоевский со взятием Кафы, в полдень гвардии поручик Щербинин с занятием Керчи и Енигулы, а перед самым захождением солнца артиллерии поручик Семёнов с ключами всех сих мест и с Вашими письмами». Письмо это, хранившееся долгие годы в семейном архиве М. Мирчинк, приводит В. Пикуль в романе «Фаворит». В конце письма Семёнову пожалован был императрицей чин капитана артиллерии и был дан Крест. Все это приводится нами здесь единственно для доказательства того, что дочь гр. Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, родившаяся в результате «несчастной связи» его с венденской мещанкой Шарлоттой Блок, сделала вполне приличную и по тем временам партию – жили молодые супруги сначала



в Петербурге, а затем в Шомохте Костромского уезда. Всего у них было 12 детей, первые умерли в раннем возрасте, мать Марии Евгеньевны Мирчинк и моего родного деда Владимира Евгеньевича Залесского Софья Владимировна Залесская, урождённая Семёнова, была их младшей дочерью.

Возвратимся к запискам М. Е. Мирчинк: «Институтское светское образование моей бабушки делало ее совершенно чуждой всей окружающей действительности..., глубоко религиозная и благодаря этому отвлечённая, поэтичная, изящная в своём внутреннем мире и в своей внешности, бесконечно кроткая и деликатная – в жизни она была совершенно беспомощна... Я не знала бабушку, она умерла, когда мне был лишь один год, но всё, что я о ней слышала от всех совершенно разнородных людей, окружало её ореолом чуть ли не святости; все, знавшие ее, при упоминании имени всегда говорили – Любовь Ивановна была ангел». Думается, что мягкостью и кротостью она была в мать; двусмысленность её положения в знатной семье отца в детстве и отрочестве, к счастью, не озлобили и не ожесточили её. А поэтичность и отвлечённость иногда в быту окружающим, лишённым этих струн души, представляются апатией и ленью. Приступы меланхолии и дурного расположения духа у Ивана Алексеевича упоминают все встречавшиеся с ним в последние годы его жизни – он пережил Шарлотту на десять лет, и жена его, урождённая кн. Урусова, нашла своё счастье в браке с Горчаковым – лицейским товарищем Пушкина. Дочь Ивана и Шарлотты Любовь приходится мне прапрабабушкой, у нас почти совпадают даты рожденья, не только имена – у нее 18, у меня – 17 июля, разница в возрасте у нас сто двадцать четыре года без одного дня. Вот такие последствия в пределах одной семьи имело «кружение, которое овладело многими умами», когда в очередной раз рухнул железный занавес, и русские не просителями – победителями оказались в Европе!

## БАЛЕТ «АНЮТА» НА СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Этот надтреснутый, горестный голос шарманки,  
Нищий учитель, закутанный в клетчатый плед...  
Вот и Анюта, а рядом братишки-подранки.  
Хлопьями снега на сцене танцующий свет.

Сразу – ни кремовых штор, ни тепла, ни уюта...  
Вот фисгармонию вынесли, гаснет свеча.  
В стае поклонников прочь уплывает Анюта,  
Вслед – гимназисты, и плед упадает с плеча...

Прочь из убогой провинции рвёшься упрямо.  
Весь в интуристах, тебе рукоплещет партер.  
Вместо Жизели заgrabной – житейская драма,  
Но в дребезжанье врывается музыка сфер.

И в упоительном вальсе проносится мимо –  
Робкой любовью стихию не превозмочь!  
Жизнь – этот гибельный танец...  
Да будет хранима

Эта Анюта,  
сестра моя,  
Родина,  
дочь!

1996 г.

# Содержание

|  |     |
|--|-----|
| Ашхабад – две встречи.....   | 3   |
| Выборы в школе.....  | 11  |
| Живые люди. Бабушка Анна Петровна.....   | 25  |
| Тётя Маруся и граф Монте-Кристо.....   | 37  |
| Под знаком отца.....   | 44  |
| Настоящая красавица.....   | 57  |
| На Театральной площади, у памятника Пушкину.....                                 | 76  |
| И вспомню я тебя с улыбкой.....  | 91  |
| Первый минский плэйбой.....  | 102 |
| Свеча горела.....  | 106 |
| Общество «Знание».....   | 111 |
| Институт культуры.....   | 116 |
| Институт литературы им. Янки Купалы,<br>или туннельный переход.....              | 122 |
| Пусть Коля пришлёт мне рубль.....  | 132 |
| Разносчик телеграмм.....   | 143 |
| Ты отпустил меня из Белорусии.....   | 153 |
| Сын по переписке.....  | 162 |
| Взлом с Мнемозиной.....  | 174 |
| Байки из Лодзи.....  | 180 |
| Китай и русская литература.....  | 186 |
| Пребывание графа Ивана Алексеевича<br>Мусина-Пушкина в северо-западном крае..... | 192 |

*Литературно-художественное издание*

Любовь Николаевна Турбина

## **Разносчик телеграмм**

*Сборник прозы*

*Корректор – Дарья Максимова*

*Дизайн обложки – Алина Новикова*

*Компьютерная вёрстка – Полина Марченко*

Подписано в печать 25.11.2015.

Формат 84×108/32. Гарнитура Petersburg.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 6,38. Тираж 300 экз. Заказ № 758.

ISBN 978-5-00095-076-0



ИПО «У Никитских ворот»

121069, г. Москва,

ул. Большая Никитская, д. 50а/5, стр.1.

Тел. (495) 690-67-19

[www.uniki.ru](http://www.uniki.ru)